

ОДЕССКИЙ ДОМ УЧЕНЫХ  
ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ

---

**ПУШКИН**  
**СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ**

**II**

---

Одесса  
1926

ОДЕССКИЙ ДОМ УЧЕНЫХ  
ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ

---

891.7

# ПУШКИН

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
М. П. АЛЕКСЕЕВА

ВЫПУСК II

ОДЕССА

1926

891.71.09[П]

Окрлит № 580 п.  
Заказ № 2928. — 1000 экз.  
„Одесполиграф“. 3-я Гостипография  
имени тов. Троцкого,  
ул. Ленина, 49.

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящий сборник составлен из работ, читанных в заседаниях Пушкинской Комиссии при Одесском Доме Ученых в 1925—26 гг. и служит непосредственным продолжением первого выпуска, вышедшего в свет в прошлом году. О задачах Пушкинской Комиссии и плане ее работ подробно говорится в предисловии к первому выпуску. Не повторяя уже сказанного, напомним только, что поставив своей целью „организованное исследование жизни и трудов Пушкина, а также всех вопросов истории литературы и культуры, с ним связанных“, Комиссия свое особое внимание обратила на изучение пребывания Пушкина на юге, главным образом, в Одессе. Этим объяснялся „местный“ уклон в выборе статей и материалов первого выпуска сборника, в той же мере сохранный и в настоящем издании. Обещанный „Биографический словарь одесских знакомых Пушкина“ по техническим соображениям выделен в самостоятельный (3-й) выпуск, который выходит из печати одновременно с настоящим сборником. К осуществлению других намеченных библиографических работ, в первую очередь к составлению указателя одесской печати о Пушкине, Комиссия предполагает приступить в ближайшее время.

Выпуская настоящие сборники, Комиссия с благодарностью вспоминает всех, способствовавших продолжению задуманного издания. Ценные дополнения и справки прислали Б. Л. Модзалевский и М. А. Цявловский; Н. Ф. Бельчиков, по просьбе Комиссии, любезно произвел ряд сличений Пушкинских текстов с рукописями поэта, хранящимися во Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве (б. Румянцевский Музей); В. М. Базилевич навел ряд справок в библиотеках г. Киева.



Второй и третий сборники и на этот раз выходят из печати при неизменной и деятельной поддержке правления Дома Ученых. За материальную помощь, общее культурное содействие и организационные хлопоты Комиссия считает своим приятным долгом выразить особую благодарность председателю правления проф. И. А. Гибшу и членам его — профессорам П. Ф. Наумову и В. О. Анатольеву.

В сотрудниках 3-ей Гостипографии Комиссия и на этот раз нашла своих доброжелателей, способствовавших быстроте и тщательности сложного набора и скорому выпуску сборника в свет.

Одесса, 15 августа 1926 г.

## Одесский список оды „Вольность“.

Знаменитая пушкинская ода „Вольность“ или „Свобода“, послужившая одним из главных поводов к ссылке Пушкина на юг, как известно, мало пострадала от того, что не могла быть в свое время напечатана: она была распространена в большом количестве списков <sup>1)</sup>).

Списки эти не могли не проникнуть на юг России — Одессу и другие места. С одной стороны, толчком для их распространения должно было служить появление здесь Пушкина. По словам ген.-губ. Воронцова, Пушкина здесь окружали „*admirateurs exagérés de sa poésie*“ <sup>2)</sup>. А главное, как на севере, так и на юге всеобщая атмосфера вольнодумства, тайных обществ и политических прожектов заставляла всякого увлекаться вольнодумными политическими стихами Пушкина. „Тогда везде“, говорит Пущин, „ходили по рукам, переписывались, читались наизусть его „Деревня“, „Ода на свободу“, „Ура! в Россию скачет“... и другие мелочи в том-же духе“. И прежде всего эти стихи ходили по рукам „действовавших“, по выражению Жуковского, каким был декабрист Пущин. Жуковский пишет Пушкину в 1826 г.: „Ты ни в чем не замешан — это правда; но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством“. Таких „действовавших“ в Новороссии — в Крыму, в Одессе, в Кишиневе было не мало и проездом и на постоянном жительстве. Кроме того, здесь существовали масонские ложи в Одессе и Кишиневе; в этих же городах были крупные гнезда гетеристов, в то же время часто бывших и масонами, и к гетеристам примыкали не только греки, но иногда и русские; среди местных поляков были отголоски общества филаретов, и некоторые филареты, как Ежовский, Малевский и поэт Мицкевич, были впоследствии сосланы в Одессу, где однако скоро их пребывание найдено опасным; наконец, возникали всякие вольнодумные кружки, как „Храм общества независимых“, ребяче-

---

<sup>1)</sup> Англичанин Э. Мортон (E. Morton), побывавший в России в 1827—1829 гг., в своей книге „*Travels in Russia and a residence at St. Petersburg and Odessa*“, Lond. 1830 (указанной мне М. П. Алексеевым), упоминает Пушкина именно как автора „Оды к Свободе“, за которую он будто бы был сослан в Сибирь (стр. 68 — 69).

<sup>2)</sup> Дело Одесского Исторического Архива „О высылке из Одессы в Псковскую губернию коллежского секретаря Пушкина. (Фонд Новороссийских губ., 1824 г., № 144/44, л. 3 об.).

1. Пушкин.

ски наивный, вроде „Зеленой лампы“, но достаточно вольнодумный. Царский рескрипт от 2 мая 1824 г. обращает внимание ген.-губ. Воронцова на то, что „в Одессу стекаются из разных мест и в особенности из польских губерний и даже из военно-служащих без позволения своего начальства многие такие лица, кои с намерением или по своему легкомыслию занимаются лишь одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние“<sup>1)</sup>. Даже в столице, стало быть, обратили внимание на вольнодумство Одессы. Вся эта одесская атмосфера подогревала интерес к пушкинским политическим стихам.

Несомненно, что в Одессе и крае ходило по рукам много списков оды „Вольность“, особенно среди указанной горячей молодежи. Трое молодых людей из разночинцев Аристов, Сухачев и Радулов, служившие сначала в Одессе, а затем на Кавказе, составили в Одессе дружеский кружок, который громко именовали „Храмом общества независимых“<sup>2)</sup>. Эти вольнодумцы во главе с Аристовым занимались политическими мечтаниями и планами, заявляли себя в уставе своего общества противниками монаршей власти, хранили у себя в русском переводе список „Декларации прав человека и гражданина“ и пр. Во время следствия у Аристова был найден список оды „Вольность“. В показании Аристова читаем: „Ода на свободу, известное сочинение — как говорят — Александра Пушкина, оная писана моею рукою с рукописной для одного любопытства“<sup>3)</sup>. Но самого списка в деле не сохранилось.

Конечно, ода переписана Аристовым не для „одного любопытства“. Тем не менее, можно полагать, переписывались списки действительно и из одного любопытства. Так или иначе, списки в Одессе были. Один из этих списков найден мной в деле Одесского Исторического Архива „о дворянине Анжело Галере“<sup>4)</sup>. Дело собственно идет о праве казны на землю в Феодосийском уезде, принадлежащую помещику Анжело Галера. Но в деле имеются бумаги Галеры, свидетельствующие о его вольнодумстве. Анжело Галера, итальянец по происхождению, житель Феодосии, в 1821 г. был, повидимому, в Одессе, затем три года проживал в Петербурге, являясь там между прочим депутатом от феодосийских негоциантов, просивших не открывать порта в Керчи, дабы не лишиться своих преимуществ. Среди бумаг Галеры имеются письма к нему, свидетельствующие о вольнодумстве его корреспондентов. Между прочим, имеется письмо на французском языке одесского французского консула, в котором

<sup>1)</sup> Дело Од. Ист. Арх. „О приезжающих в Одессу лицах, рассеивающих вредные толки“, и пр. (Секр. часть канц. Новорос. и Бессар. ген.-губ., 1824 г., № 7, л. 1).

<sup>2)</sup> Этот кружок описан по делу Од. Ист. Арх. в статье Ю. Г. Оксмана „Одесские вольнодумцы пушкинской поры“. (Былое, 1923 г., № 21, стр. 49 — 56).

<sup>3)</sup> Дело Од. Ист. Арх. „О Василии Сухачеве“. Секр. часть канц. Новор. и Бессар. ген.-губ., 1826 г., № 12, л. 70.

<sup>4)</sup> Секр. часть канц. Новор. и Бессар. ген.-губ. 1824 г., № 12, л. л. 20 и 21.

упоминается о денежном сборе для какого-то генерала и говорится, что одни только масоны могут в этом участвовать. Из этого можно заключить, что Галера был масоном, хотя в архивных делах и печатных источниках о масонах фамилия Галеры, насколько мне известно, не встречается.

Среди бумаг Галеры имеются „стихи весьма дерзкие“, как говорится в деле, т.-е. ода Пушкина, озаглавленная здесь „Ода вольности“. Этот список не является, конечно, авторитетным в смысле своего текста, но он интересен, кроме самого факта существования среди бумаг вольнодумца, тем, что примыкает ближе к автографу Пушкина, обнаруженному в бумагах А. И. Тургенева, нежели к пушкинскому списку. Не имея возможности сопоставить данный список со всеми имеющимися, беру для сравнения два основных списка, напечатанных во II томе академич. издания соч. Пушкина, — список, сохранившийся от Пущина, который Пущин считал автографом Пушкина, но который, как установлено исследователями, таковым не является, и список, найденный в бумагах А. И. Тургенева, представляющий собой подлинный автограф Пушкина.

Вот основные варианты Тургеневского и Пущинского списков и параллельно с этим чтение нашего списка:

#### Тургеневский список.

- Стр. I, стих 7. Хочу воспеть Свободу миру  
 „ „ 8. На тронах поразить порок.  
 Стр. II, стих 5. Питомцы ветренной судьбы  
 Стр. III, стих 7. Воссела — Рабства грозный Гений  
 „ „ 8. И Славы роковая страсть  
 Стр. IV, стих 2. Народов не легко страданье  
 Стр. V, стих 1. И преступленье с высока  
 „ „ 2. Сражает праведным размахом  
 „ „ 4. Ни алчной скупостью, ни страхом  
 Стр. VI, стих 2. Где дремлет он неосторожно  
 Стр. VII, стих 3. Главой развенчанной приник  
 „ „ 6. Падет преступная секира!  
 „ „ 7. И се — злодейская порфира  
 Стр. VIII, стих 2. Тебя, твой трон я ненавижу  
 Стр. IX, стих 4. Спокойный сон отягощает  
 Стр. X, стих 1. И слышет Клии страшной глас  
 „ „ 2. За сими страшными стенами  
 Стр. XI, стих 2. Опущен молча мост подъемной  
 Стр. XII, стих 3. Ни кров темниц, ни олтари  
 „ „ 7. И станут вечной стражей трона.

#### Пущинский список.

- Стр. I, стих 7. Хочу воспеть я вольность миру,  
 „ „ 8. На троне поразить порок.  
 Стр. II, стих 5. Любимцы ветренной судьбы  
 Стр. III, стих 7. Везде неволи грозный Гений  
 „ „ 8. И к славе роковая страсть  
 Стр. IV, стих 2. Не слышится людей стенанье  
 Стр. V, стих 1. Где преступленье с высока  
 „ „ 2. Разится праведным размахом  
 „ „ 4. Ни к злату алчностью, ни страхом

- Стр. VI, стих 2. Где он блюдет неосторожно  
 Стр. VII, стих 3. Челом развенчаннм приник  
 " " 6. И лишь главу снесла секира,  
 " " 7. Как самовластная порфира  
 Стр. VIII, стих 2. Тебя, твой род я ненавижу  
 Стр. IX, стих 4. Спокойно сон к себе склоняет  
 Стр. X, стих 1. Он слышит Клии страшный глас  
 " 2. Над сими мрачными стенами  
 Стр. XI, стих 2. Опущен тихо мост подъемной  
 Стр. XII, стих 3. Ни мрак темниц, ни олтари  
 " 7. И станут верной стражей трона.

### Список Галеры.

- Стр. I, стих 7. Хочу я вольность грянуть миру  
 " 8. На троне поразить порок  
 Стр. II, стих 5. Любимцы ветренной судьбы  
 Стр. III, стих 7. Возникла рабства Грозный Гений,  
 " 8. И славы роковая страсть!  
 Стр. IV, стих 2. Народов не легко страданье  
 Стр. V, стих 1. И преступлений<sup>1)</sup> свысока  
 " 2. Карает праведным размахом  
 " 4. Ни алчной скупостью, ни страхом  
 Стр. VI, стих 2. Где дремлет он неосторожно  
 Стр. VII, стих 3. Челом развенчаннм приник  
 " 6. Падет преступная секира  
 " 7. И самовластная порфира  
 Стр. VIII, стих 2. Тебя, твой трон я ненавижу  
 Стр. IX, стих 4. Приятной сон отягощает  
 Стр. X, стих 1. Он слышит Клии страшный глас,  
 " 2. Над сими мрачными стенами  
 Стр. XI, стих 2. Опущен тихо мост подъемной  
 Стр. XII, стих 3. Ни кров темниц, ни олтари  
 " 7. И станут верны стражей трона

Таким образом, в 11 случаях наш список приближается к Тургеневскому, в 8 — к Пушкинскому, а в 7 — представляет отличия от того и другого, но все же более приближающие его к Тургеневскому, чем к Пушкинскому списку. Кроме того, есть еще несколько общих отличий от Тургеневского и Пушкинского списков, которые не могли найти места в приведенных разночтениях. Но они не настолько значительны, чтобы их стоило дополнительно приводить. Любопытно лишь отметить в окончании прилагательных преимущественное *ый* вм. *ой*: гибельный вм. гибельной, твердый, страшный. Слово *подъемной* написано сначала через *ы*, которое потом исправлено на *о*. Это указывает на обычность написания и произношения в то время *ый*, вопреки пушкинскому *ой*.

*В. Стратен.*

<sup>1)</sup> Описка.

## Пушкин и греческое восстание.

(Опыт исторического комментария к филэллинистическим пьесам Пушкина).

„Он пел в степях, под игом скуки  
„Влача свой страннический век—  
„И на пленительные звуки  
„Стекались нимфы чуждых рек“.  
Ф. А. Туманский — „А. С. Пушкину“.

Целая полоса и при том очень яркая полоса переживаний Пушкина в однообразно-тягучей обстановке Кишинева и Одессы до сих пор остается очень тускло освещенной. Мы имеем в виду филэллинские настроения поэта на фоне греческой революции 20-х годов минувшего столетия, сплетающиеся с мечтами о бегстве из России<sup>1)</sup>, с рядом его лирических пьес, повестью „Кирджали“, Кишиневским дневником и излияниями в письмах.

Два характерных для этого периода стихотворения „Война“ и „Восстань, о Греция, восстань“ относятся комментаторами последнего времени — первое к ноябрю месяцу 1821 г.<sup>2)</sup>, второе к 1829 и даже к 1830 г. с ссылкой на то, что поводом к созданию этой пьесы послужил Адрианопольский мир, как удачный заключительный аккорд турецкой войны<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> В статье „Тоска по чужбине у Пушкина“ М. Цявловский (Голос М и н. 1916 № 1), говоря о планах поэта бежать из России во время пребывания его на юге, совершенно не касается кишиневского периода. Относительно же намерений, зрелищ у Пушкина в одесский период, о которых мы узнаем по 49 и 50 строфам I гл. „Евг. Онег.“, по стих. „К морю“, наконец, по письму к брату, писанному в январе 1824 г., автор говорит, что „все это были романтические мечты, отголоски увлечения Байроном“. Однако, он сам признает, что кое-какие приготовления делались в этом направлении при участии графини Воронцовой и княгини Вяземской. Со слов Воронцова А. Я. Булгаков писал из Москвы в Петербург брату: „Вяземская хотела покровительствовать его побегу из Одессы, искала ему денег, гребное судно“. (Русский Архив 1901, № 6, стр. 187). Как мы будем видеть, реальные намерения к отъезду из России у Пушкина впервые зародились в Кишиневе по связи с восстанием Ипсиланти, — повидимому, и в Одессе они были не только „романтичны“.

<sup>2)</sup> На одном из автографов этой пьесы, находящемся в майковской коллекции рукописей Пушкина, рукою поэта помечено: „29 ноября 1821 года“. См. по этому поводу комментарии к пьесе во II т. сочинений Пушкина изд. Брокгауза-Ефрона и в III т. Академического издания.

<sup>3)</sup> Н. Лернер. „Стихи о Греции“. Русский Библиофил. 1911, № 5. Ср. его же комментарий к этой пьесе во II томе „Сочинений Пушкина“

Зная все как будто неопровержимые аргументы в пользу указанных выше датировок, нам все-таки хочется поставить вопрос: так-ли это?

Оставляя пока в стороне решение данной проблемы на основе изучения пушкинских автографов, тщательно исследованных Шляпкиным и Гофманом, станем на иные методологические рельсы: не может ли нам в этом деле помочь историко-психологический анализ филэллинистических настроений Пушкина на почве общего филэллинизма русских его современников в годы с 1821 по 1824, когда вынужденная ссылка приковывала поэта к Кишиневу и Одессе?

Дело ведь в том, что в 1821 году напряженность событий и известный подъем сочувственного грекам настроения среди русского дворянского общества да и у самого Пушкина приходится не на конец, а на начало этого года<sup>1)</sup>, а в 1829 г. или около этого времени русскими филэллинистами не было написано ни одного стихотворения, где бы возрожденной Греции посылались восторженные и пламенные слова<sup>2)</sup>: увлечение, поэтическое увлечение современной Элладой достигло своего кульминационного пункта в момент смерти Байрона, а затем начало заметно падать и к 1829 году от него не осталось и следа. Характерно, что один из филэллинистов В. И. Туманский, связанный с Пушкиным созвучным настроением 1824—1825 г.г. к Греции в Одессе же („Греция“ 1825, „Греческая ода“ 1824), в 1829 г., участвуя „в редакционных трудах Адрианопольского мирного трактата“ при графе Дибиче, пишет „Романс (на голос вальса Бетховена)“, насквозь элегический:

Когда все пирует и блещет вокруг,  
Зачем ты так мрачен, пустынный наш друг?  
Что вспомнил, надумал? что душу грызет?  
Пей с нами: печали вино унесет и т. д.

Ни звука не только о Греции, но и о славе русского оружия, на что Пушкин сделал попытку отозваться, хотя у него, если не считать несколько двусмысленного по настроению „Олегова

---

изд. Брокг.-Ефрона. В нем Лернер относил это стихотворение к 1821 году. М. Л. Гофман „Из ненапечатанных и непрочитанных стихотворений Пушкина“. Пушкин и его современники. Вып. 36. 1923. И. А. Шляпкин напечатал это стихотворение под 1830 г. См. его „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина“. П. 1903. Стр. 18.

<sup>1)</sup> После восстания Ипсиланти весной и летом 1821 г. на юге происходили события, связанные с греческим восстанием, которые не могли не волновать. О них см. ниже.

<sup>2)</sup> Заключительная яркая вспышка филэллинизма у нас была вызвана смертью Байрона, связавшего свои последние дни с делом освобождения Греции. См. „Русские стихотворения начала XIX века, посвященные Байрону“ в книге В. И. Маслова „Начальный период байронизма в России“. Киев, 1915. О ряде лирических филэллинистических пьес в промежутке времени от 1821 по 1825 г. см. в книге того же автора „Литературная деятельность К. Ф. Рылеева“ К. 1912. Стр. 150. 161, 275—276.

щита<sup>1)</sup>), мы находим только не обработанный набросок „Опять увенчаны“: для патриотического подъема нужно было настроение, а его он не находил ни в окружающих, ни в себе: раны, нанесенные русской интеллигенции после 14 дек. 1825 г., были еще слишком живы<sup>2)</sup>).

Итак, в какую форму вылились мысли и чувства Пушкина, захваченные общим потоком филэллинизма, и к какому времени они относятся?

Обратимся к его стихотворениям, как живому отклику на тревожно-жгучие события дня, связанные с греческой революцией, чуть-чуть не увлекшей поэта на путь рискованных поступков...

Если учесть все обстоятельства, при которых могли появиться лирические пьесы Пушкина, так или иначе касающиеся греческого движения, то их нужно бы было, иногда даже нарушая сохранившиеся автографические даты, расположить в такой последовательности: „Война“ (весна 1821 г.)<sup>3)</sup>, „В. Л. Давыдову“ (начало апреля 1821 г. Лернер), „Гречанка, я люблю тебя“ (1821 г.), „К Овидию“ (26 дек. 1821 г.), „Гречанка верная! не плачь“ (1821—1822), „Восстань, о Греция...“ (1824)<sup>4)</sup>, „Ода Хвостову“ (1825 г. Морозов).

21 февраля 1821 г. Александр Ипсиланти с двумя из своих братьев прибыл в Яссы из Кишинева. Изданные им здесь прокламации получили широкое распространение. 11 марта он поднял восстание. „В Яссах все спокойно... — сообщает Пушкин в письме к А. Н. Раевскому в марте этого года<sup>5)</sup>. Известие о возмущении дошло до Константинополя. Ожидают уж... но еще их нет... Трое бежавших греков находятся со вчерашнего дня в здешнем карантине — Они уничтожили многие ложные слухи... Восторг умов дошел до высочайшей степени; (греков) все мысли устремлены к одному предмету — на независимость древнего отечества... В Одессах я уже не застал любопытного зрелища<sup>6)</sup>: в лавках, на улицах, в

1) „Твой (Олегов) стон ревнивый нас смутил,  
И нашу рать перед Стамбулом  
Твой старый щит остановил“.

2) „Все вяло, холодно, бледно — писал Вяземский Тургеневу в октябре 1828 г.— И война, которая могла придать жизни и поэзии нашему быту, обратилась в довольно гнусную прозу. Она наводит на всех большое уныние... У нас нет взаимности и между массою и верхушками. А между тем и этой славы нет: Румянцевы и Суворовы не так дрались с турками... Замечательно также, что, кроме Хвостова и Шаликова, нет певцов на газетные победы. Будущий Иоанн Миллер должен будет означить это в истории нашего времени“. И далее: „Об отдаленных также ничего утешительного не слышать, кроме того, что некоторые, выслужив свои каторжные года, переведены на поселение“... О с т а ф ъ е в с к и й А р х и в, III. Стр. 177.

3) Автограф, принадлежавший Анненкову, имеет дату: „29 ноября 1821“ (прежде было: „окт.“). Другие два автографа с пометой: „1821“. Н. О. Лернер „Примечания к стихотворениям 1821 г.“ Соч. П-на. Изд. Брок.-Ефрона т. II.

4) Давая такую дату, мы идем в разрез с мнениями Шляпкина, Гофмана и примкнувшего к ним Лернера.

5) Переписка. Изд. Акад. наук. Т. I. Стр. 25 — 26.

6) Когда Пушкин посетил Одессу? Не на возвратном ли пути в марте из Каменки в Кишинев?



трактирах — везде собирались толпы греков; все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты; все говорили об Леониде, об Фемистокле, все шли в войско счастливица Ипсиланти... Ипсиланти идет на соединение с Владимиреско... Первый шаг Ипсиланти прекрасен и блистателен!.. Важный вопрос: что станет делать Россия; зайдем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов“...

Восстание греков и движение Ипсиланти для всего русского общества создало впечатление взрыва бомбы среди общей тишины. Об этом свидетельствует интересная с бытовой точки зрения переписка братьев А. Я. Булгакова (Москва) и К. Я. Булгакова (Петербург)<sup>1)</sup>. „Я видел С. С. Апраксина, который мне сказал странную весть и не похожую на быль, что все греки восстали, объявили себя независимыми,... что греки избрали себе в главу Ипсилантия и издали прокламацию, в коей ссылаются на подпору одной сильной Северной<sup>2)</sup> державы... Все это так невероятно, что я тебе сообщаю только для смеха“. В таких словах уже 14 марта А. Я. спешит сообщить брату московскую весть. Однако, уже на следующий день он торопится дополнительно известить: „Здесь только и речи в городе, что об восстании греков... Из Одессы одной ушли 4000 греков, желающих соединиться со своими соотечественниками. Здешние греки целуются, как в Светлое Христово Воскресение; кофейные дома набиты людьями пьющими и курящими“. А. Я. Булгакову, захваченному потоком событий, помимо слухов, хочется иметь в руках какие-либо реальные знаки поднятого восстания. Он посылает к знакомым грекам за новостями и, наконец, добывает прокламацию Ипсиланти в переводе на французский язык „молодою Маврокордато“. „Что-то выйдет из этого, но дело святое! — читаем во 2-ом письме от 15 марта<sup>3)</sup> — Постыдно, чтобы в просвещенном нашем веке терпимы были варвары в Европе и угнетали наших единоверцев и друзей. Не имей я семьи и тебя, пошел бы служить и освободить родину свою, Царьград... Что-то скажет наш двор на это? Ужели отдадим на жертву бедных греков? Это не Неапольская история, это не интрига четырех мошенников, но порыв целого народа угнетенного. И негров защищают все державы, разве греки хуже негров? Прокламация говорит двусмысленно *protégée par une haute puissance, mais à qui se rapporte le mot de protégée, est-ce à la Grèce ou à la Croix*. Может быть и это умысел. Ипсиланти не бродяга, не повеса; не подумавши не пустился бы на такое предприятие. Я очень любопытен знать, чем это кончится, но молю Бога за греков“. В письме от 24 марта читаем: „Метакса перевел прозою с греческого, а Глинка переложил в стихи гимн или марш

1) Русский Архив. 1901—1903.

2) В прокламации говорится только об „Une haute puissance“.

3) Напечатано: „Москва, 25 марта 1821“, но это есть явная опечатка, т. к. дальше следуют письма от 17, 18, 21 и т. д. марта.

греков: это род Allons, enfants de la patrie“. А. Я. Булгакова все время интересуется отношением к греческому движению двора. Уже 2-го декабря он шлет брату вопрос: „Да, ежели турки будут драться с Витгенштейном, не значит ли это война с русскими?“ Письма К. Я. из Петербурга гораздо хладнокровнее. Его отношение к Ипсиланти скептическое. Он с самого начала не верит в его успех. 24 мая он пишет брату: „Нет, брат, кажется, греческие дела скоро кончатся, несмотря на новости из Москвы“. Поступок Ипсиланти ему кажется безрассудным. И если его сомнения в успехе последнего получили полное подтверждение, то вести, шедшие между прочим и из Одессы, указывали на успехи и упорство восставших на юге Балканского полуострова, о чем К. Я. сообщает в Москву. Однако о возможности войны с турками он нигде в письмах не говорит: настроение Александра I ему хорошо известно. Важно отметить, что к осени и зиме 1821 г. интерес к греческому вопросу у братьев заметно ослабел. Это дает повод сделать заключение, что после поражения Ипсиланти во второй половине июня месяца и в начале июля (по старому стилю), а также после того как отношение правительства Александра I к Турции вполне определилось, жгучий интерес в обществе к событиям в Греции упал. Нельзя не чувствовать этого и в настроении Пушкина. Так, в начале восстания в „Кишиневском дневнике“, который он вел весной 1821 г., мы читаем: „2-го апреля вечер провел у N. G. Прелестная гречанка. Говорили об А. Ипсиланти; между пятью греками, я один говорил, как грек; все отчаявались в успехе предприятия этерии. Я твердо уверен, что Греция восторжествует, и 2.500.000 турков оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла. С крайним сожалением узнал я, что Владимирско не имеет другого достоинства, кроме храбрости необыкновенной — храбрости достанет и у Ипсиланти“.

Веря в успех греческого дела, Пушкин, однако, желал, чтобы у восставшего народа оказался настоящий вождь с умом, административными и организаторскими способностями. Хорошо знакомый в Кишиневе со всей семьей Ипсиланти, он не находил необходимых качеств у Александра Ипсиланти, которому дал такую четкую характеристику в повести „Кирджали“<sup>1)</sup>, может быть находившуюся также в недошедших до нас листах „Кишиневского дневника“. Некоторым разочарованием для него было то, что и другой вождь инсургентов — Владимирско<sup>2)</sup> был не выше в этом отношении.

1) „Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности“. Соч. Пушкина. Изд. Брокг.-Ефр. Т. V. Стр. 263.

2) Последний мечтал о борьбе не только против турок, но и против новых бояр Молдавии и Валахии — „ces parvenus grecs ou romains, levantins ou étrangers qui, depuis un siècle, opprimaient le peuple à outrance“, как говорит новейший историк А. Stourdza в своем труде „L'Europe Orientale“. P. 1913. Стр. 292.

Несколько позднее, в дошедшем до нас другом отрывке дневника без даты читаем: „Вчера к. Дм. Ипсиланти сказал мне, что греки перешли через Дунай и разбили корпус неприятельский“.

Но в июне месяце звезда Ипсиланти померкла, Владимирско еще раньше был казнен по приказанию последнего, остатки повстанцев либо были истреблены турками, либо бежали и укрылись в Бессарабии. Надежда на бегство из России теряла свою реальность. Пушкин тоскует и рвется на север<sup>1)</sup>. После того как он прочитал, напр., в „Сыне Отечестве“ официальное сообщение о восстании Ипсиланти<sup>2)</sup>, где говорилось, что „лишь только государь император известился о происшествиях в Яссах, то и объявил, что должен почитать предприятие кн. Ипсилантия действием исступления, которым ознаменовано нынешнее время, неопытности и легкомыслия сего молодого человека“, вряд-ли можно было рассчитывать на какие-либо агрессивные действия со стороны России. В этом же сообщении доводилось до сведения общества, что „его величество изволил принять следующие меры: 1) исключить кн. Александра Ипсилантия из российской службы; 2) объявить ему, что его величество отнюдь не одобряет его предприятия, и что он никогда не может ожидать от России ни малейшей помощи; 3) предписать точнейшим образом гр. Витгенштейну, главнокомандующему российских войск на берегах Прута и в Бессарабии, чтобы он наблюдал строжайший нейтралитет при возникших в двух княжествах мятежах, и не принимал в оных ни под каким предлогом ни посредственного, ни непосредственного участия“ и т. д.

Не веря в возможность военных столкновений с Турцией при таких условиях, прося похлопотать о нем в Петербурге, Пушкин

<sup>1)</sup> Письма А. И. Тургеневу (вторая половина июля 1821 г.) и С. И. Тургеневу (21 авг. 1821 г.).

<sup>2)</sup> 1821 г. № XV. От 9 апреля. Стр. 49–51. В Бессарабии начальство не должно было допускать никаких внешних выражений сочувствия восставшим грекам. По этому поводу приводим сл. рассказ о Пушкине и Инзове в мало известном биографическом очерке носледнего: „В ту эпоху, когда жил Пушкин в Кишиневе, греческое восстание было в полном разгаре; знаменитая „этерия“, избравшая своим символом трехцветное знамя, агитировала в пользу восстания очень деятельно; все с напряжением следили за ходом событий. Но официально восстание не одобрялось, и начальство особенно высшее, должно было, конечно, следить, чтобы не проявлялось каких либо признаков „сочувствия“... Пушкин знал это,— и вот однажды он пошутил над Инзовым. Дело в том, что Инзов только что сшил себе летний енгульшалевый сюртук, но так как материи не хватило, то в спине добавили материи зеленого цвета; воротник и обшлага, конечно, были красные. Увидав Инзова в таком костюме, Пушкин вдруг воскликнул: „ваше превосходительство, что вы делаете, что это такое?“— „А? Что такое?“— испугавшись поспешно спросил Инзов.— „Да, ведь, вы етер и собою изображаете!“—отвечал поэт.— „Что ты, братец, с ума что ли сошел?“—отвечал генерал.— „Да как же у вас три цвета на одном сюртуке?“— сказал Пушкин. Добродушный Иван Никитич рассмеялся и тем дело кончилось. Лицо, писавшее об этом анекдоте, само присутствовало при этой шутке“. („Ю г“. Одесса. 1882. № 2). С чьих слов передается этот анекдот, к сожалению, неизвестно.

на всякий случай в упоминавшемся августовском письме к С. И. Тургеневу пишет: „Но если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии“. В дальнейшем каких либо новых сообщений от Пушкина по данному вопросу в 1821 году мы не имеем<sup>1)</sup>.

Бартенева без ссылки на какой-либо источник в своей статье „Пушкин в южной России“ (Русский Архив. 1866. Стр. 1159—1160) пишет, что „осенью 1821 года“ кишиневская жизнь, „довольно однообразная, вдруг получила новое движение и заволновалась. Пронесся слух, что войска двинутся в поход, и что объявлена будет война с Турцией“. Эти строки должны были дать объяснение тому, что стихотворение „Война“ могло быть написано 29 ноября. Позднейшие комментаторы, исключая Л. Н. Майкова и П. О. Морозова, в подтверждение правильности вышеприведенной даты, обыкновенно цитируют Бартенева. Отсюда вытекает, что не взволновавшее поэта и русское общество движение Ипсиланти было поводом к созданию этой пьесы, а какой-то неопределенный слух о возможной войне с Турцией.

Так ли это?

Не допустил ли здесь Бартенева психологической ошибки, из содержания и даты стихотворения строя настроение, в котором могло находиться осенью кишиневское общество?

Во всяком случае внимательный анализ пьесы показывает, что она есть отклик не на слухи о войне, а на определенные факты, которые могли привести к военным столкновениям с Турцией.

Это стихотворение вполне автобиографично, если сопоставить его в дополнение к тому, что сказано, с письмами Дельвигу от 23 марта 1821 г. и Гнедичу от 24 марта того же года.

В первом письме читаем: „Недавно приехал в Кишинев<sup>2)</sup> и скоро оставляю благословенную Бессарабию; есть страны благословеннее“; во втором письме есть фраза: „Не скоро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут долгой, долгою разлукой“.

---

<sup>1)</sup> После мартовского восстания Ипсиланти наиболее волнующими событиями этого года были: убийство в Константинополе патриарха, тело которого было доставлено в Одессу греками и торжественно похоронено там же 17—19 июня, усиление весной и летом этого года армии Витгенштейна, занимавшей Бессарабию, наконец, разрыв с Турцией дипломатических отношений и отъезд из Константинополя в Одессу 29 июня русского посла графа Строганова. В свете последнего события понятна смутная надежда Пушкина на войну, о чем он запрашивает С. И. Тургенева. На похоронах патриарха он не присутствовал, так как из своей поездки в Одессу в конце апреля, с разрешения Иззова, вернулся в Кишинев к началу июня. Любопытно отметить, что и слухи, ходившие в Петербурге о мнимом побеге Пушкина к восставшим грекам, приходится на лето 1821 г. и, значит, относятся к тем шагам Пушкина, которые он предпринимал по связи с движением, поднятым Ипсиланти.

<sup>2)</sup> С конца ноября 1820 г. до начала марта 1821 г. Пушкин находился в Каменке. А Кочубинский относит, между прочим, желание поэта покинуть Россию тайком к лету 1821 г. и связывает это его намерение с „цыганской экскурсией“ до Измаила. (Черты края в произведениях Пушкина. Речь в Кишиневе 26 мая 1885 г.).

Стихотворение начинается так:

Война!.. Подъяты наконец <sup>1)</sup>,  
Шумят знамена бранной чести! <sup>2)</sup>

Слово „наконец“, да и вся фраза имеет в виду совершившийся факт, а не слух о войне.

Побег из Кишинева в Яссы и поступление добровольцем в ряды греков не могли не сознаваться Пушкиным, как роковой шаг.

И потому он пишет:

И все умрет со мной: надежды юных дней,  
Священный сердца жар, к высокому стремленье,  
Воспоминание и брата и друзей <sup>3)</sup>,  
И мыслей творческих напрасное волненье,  
И ты, и ты, любовь?.. Уже ль ни бранный шум,  
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,  
Ничто не заглушит моих привычных дум?

Однако это настроение не может одолеть жажды вырваться из заколдованного круга кишиневской жизни: будь, что будет!

Я таю, жертва злой отравы:  
Покой бежит меня; нет власти над собой,  
И тягостная лень душою овладела...  
Что ж медлит ужас боевой?  
Что ж битва первая еще не закипела?..

Первые три строки этого заключительного аккорда однозвучны вышеприведенным словам в письмах к Дельвигу и Гнедичу. Послед-

---

<sup>1)</sup> Курсив здесь и в дальнейшем наш.

<sup>2)</sup> В письме к А. Н. Раевскому: „Греки стали стекаться толпами под его (Ипсиланти) трое знамен, из которых одно трехцветное, на другом развевается крест, обвитый лаврами, с текстом: с и м з н а м е н е м п о б е д и ш и; на третьем изображен возрождающийся феникс“. Этот символ ведет свое начало от личной печати турецкого дипломата А. Маврокордато, приложенной к Карловецкому трактату 1699 г. А. Stourdza. *L'Europe Orientale*. P. 1913. Стр. 277.

<sup>3)</sup> В письме к брату из Кишинева 30 января 1823 г., по поводу появления этого стихотворения в „Полярной звезде“ с грубыми ошибками, Пушкин, вспоминая былое свое настроение, замечает: „Воспоминание и брата, и друзей (напечатано было: „братьев“) — стих трогательный, а в Звезде просто плоский“. Возможно, что Пушкин непосредственно просил у А. Ипсиланти разрешения вступить в ряды добровольцев. Что между ними была переписка, об этом свидетельствует следующая запись в „Кишиневском дневнике“: „Третьего дня (7-го мая) писал я к кн. Ипсиланти, с молодым французом, который отправляется в греческое войско“. Трогательную и заботливую мысль о „брате“ и позднейшее упоминание в приведенном выше письме об искаженной „Полярной Звездой“ строчке рассматриваемого стихотворения очень уместно сопоставить с настроением Пушкина в письме к Дельвигу от 23 марта 1821 г. Письмо заканчивается тревогой за будущую судьбу любимого брата. Слова „боюсь за его молодость; боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим... Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца“, — эти слова как бы подчеркивают близость долгой разлуки, во время которой его влияние на брата будет сведено к нулю. Вот почему он просит друга: „Люби его“.

ние же две дают право отнести рассматриваемую пьесу к марту, когда восстание уже было поднято генералом Ипсиланти, но до столкновения с турками дело еще не дошло. Напоминаем сл. слова из цитированного выше письма А. Н. Раевского: „Известие о возмущении дошло до Константинополя. Ожидают уж... Но еще их нет“.

В заключение произведенного анализа считаю нужным добавить, что на такой разбор стихотворения „Война“ натолкнул меня А. М. Де-Рибас, охотно поделившийся со мною своими соображениями и позволивший воспользоваться для данной цели его рукописью. Привожу отсюда интересные места:

„Настроение этого стихотворения вполне соответствует тому, что переживал Пушкин в марте 1821 г., и тем мечтам, которые он лелеял, намекая на них в своих письмах к Дельвигу и Гнедичу... Стихи слабые. Но это также подтверждает, что Пушкин писал их под впечатлением момента“<sup>1)</sup>.

Итак, нам кажется, за этой пьесой должно быть признано автобиографическое значение, а также и то, что она теснейшим образом связана с пограничными событиями, имевшими место в феврале и марте месяце 1821 г. в Бессарабии: „Война“ есть отклик на определенные события внешней жизни и те решения, которыми поэт был охвачен, но никак не отзвук слухов о возможной войне с Турцией<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> С. Ашевский в статье „Пушкин и война“ (Мир Божий. 1899. Июнь) пишет „Пушкин горячо приветствовал восстание Ипсиланти и собирался лично стать в ряды защитников Греции и „причаститься кровавой чашей“. В это время написано и стихотворение „Война“. (Курсив наш).

<sup>2)</sup> С разбираемым стихотворением Пушкина интересно сопоставить лирическую пьесу Рылеева, написанную в 1821 г., но напечатанную впервые П. А. Ефремовым в „Русской Старине“ за 1877 г. Она проникнута ярким филиаллинизмом и озаглавлена так: „А. П. Ермолову“. Когда, после восстания Ипсиланти, шли беседы о возможной войне России с Турцией, имя популярного генерала А. П. Ермолова называлось по связи с возможностью назначения его главнокомандующим армией, стоявшей на турецкой границе в Бессарабии.

Вот строки этого стихотворения, созвучные „Войне“ Пушкина по настроению:

Уже в отечестве потомков Фемистокла  
Повсюду подняты свободы знамена,  
Геройской кровью уж земля намокла  
И трупами врагов удобрена!

См. предисловие (к опубликованной пьесе) Ефремова („Русская Стар.“ 1877. XVIII). В. И. Маслов Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. 1912. Стр. 161.

Отмечаем попутно еще следующие лирические пьесы, навеянные симпатиями к греческому движению и относящиеся к 1821 г.: „Греческие девицы к юношам“ Ф. Глинки и „Послание к Панаеву“ Норова. „Соревнователь просвещения“ 1821. Ч. XVI. Называем их потому, что они не отмечены ни Замотиным, ни В. Масловым. К 1822 г. относится стихотворение О. Сомова „Греция“, которое представляет собою подражание некоему Ардану. В примечании к пьесе читаем: „Ардан (Ardant) написал свою элегию еще около 1812 г. и заслужил первую награду от Тулузской

Как же быть тогда с датой „29 ноября“? Выход один. Данный автограф не ранний, а позднейший. Поручкой тому служит то, что на нем есть еще обозначение „окт.“, которое потом было зачеркнуто. Пушкин мог неоднократно возвращаться к пьесе, готовя ее к печати...

Следующее в намеченном нами порядке стихотворение „Вас. Льв. Давыдов“, относящееся к началу апреля 1821 г., интересно для нашей цели только тем, что лишний раз подчеркивает прикованность поэта к событиям, начинавшим разыгрываться за рекой Прутом. К ним относятся только две строки пьесы:

И с горя на берегах Дуная  
Бунтует наш безрукий князь ..

В „Кишиневском дневнике“ запись, к сожалению без даты, относящаяся, вероятно, ко второй половине апреля, гласит следующее: „Вчера кн. Дм. Ипсиланти сказал мне, что греки перешли через Дунай и разбили корпус неприятельский“.

Стихотворение „Гречанка, я люблю тебя“—только черновой набросок. Возможно, что в этой пьесе, если сопоставить имя гречанки „Эллеферия“ с „Ελευθερία“—свобода, можно сделать вывод, что „образом женщины, видимо,—как думает Лернер,—прикрыта абстракция“. Во всяком случае этот отрывок отражает то филэллинистическое настроение, которым в 1821 г. был охвачен поэт.

В пьесе „К Овидию“, относящейся к 26 дек. 1821 г., для нас интересны следующие строки:

Здесь, лирой северной пустыни оглашая,  
Скитался я в те дни, как на ~~берегах~~ Дуная  
Великодушный грек свободу вызывал.

О деле Ипсиланти говорится кратко, как о чем-то прошедшем и канувшем в Лету истории: о нем можно было теперь после крушения необдуманного, но „великодушного“ предприятия только с горечью вспоминать. И в свете этих воспоминаний еще больше становится невозможным стихотворение „Война“ датировать „29 ноября“.

Отрывок „Гречанка верная! не плачь“, для нас важен, как показатель филэллинских настроений Пушкина в 1821—1822 г.г.

---

Академии Словесности“. О. Сомов воспользовался этой элегией, чтобы, грусть, при виде поработенной и безмолвной Эллады в 1812 г., сменить, уже от себя, на бурную радость по поводу восстания греков против угнетателей. Вот некоторые строки заключения:

Услышано мое моление.  
Грек за свободу стал: в тираннов сеет страх!  
.....  
Разите -- и во гневе яром  
Удары сыпьте за ударом!

(„Соревнователь Просвещения“. 1822 г. Ч XVII).

Интересно то, что содержание этой пьесы, как отмечает Лернер, „вероятно, навеяно знаменитым прощанием Гектора с Андромахой“: это вполне согласуется с тем, какую роль классические реминесценции играли как в филэллинизме Пушкина, так и его современников.

Наконец, перед нами пьеса „Восстань, о Греция“...

Известно, что Анненков, впервые напечатавший эту пьесу, поместил ее в своем издании под 1823 г. Издание Брокгауз-Ефрона сохранило эту датировку, но Лернер в примечании к разбираемому стихотворению, необоснованно считая, что „в 1823 году Пушкин совершенно изменил своему прежнему энтузиастическому отношению к грекам и греческому движению<sup>1)</sup>“, также необоснованно относил одно время эту пьесу к 1821 г. На последующие изменения в его взгляде мы указали выше, отмечая мнение Шляпкина и Гофмана по этому вопросу. Академическое издание сочинений Пушкина не поместило этого стихотворения ни под 1821, ни под 1823 г. Возможно, что, согласно мнению Шляпкина и Гофмана, его в ближайшем выпуске отнесут к 1829 году. Будет ли это правильно?

Изучая филэллинизм на русской почве, нельзя не заметить, что наибольшей выразительности он достигает к концу 1824 и началу 1825 г.<sup>2)</sup> Это легко объясняется событиями в самой Греции. Именно к этому времени борьба греков за свою независимость достигла своего наивысшего успеха: Греция владела Мореей, Афины тоже были в ее руках. Англия еще в 1823 г. признала Грецию воюющею державою. Греческий флот господствовал на море. Кроме того, активное вмешательство в конце 1823 г. Байрона и его смерть в Миссолунги 19 апр. 1824 г. помогли сплести в одну поэтическую гирлянду борьбу классической Эллады против персов и нынешнее успешное состязание греков с турками, вызывая на почве реминесценций в среде русской и заграничной интеллигенции живое сочувствие и отклик.

1825-й год явился поворотным в борьбе греков. Раздоры среди греческих вождей, помощь, оказанная Турции Египтом, переход

---

1) Курсив наш.

2) Французский филэллинизм, столь важный для понимания русского, рассмотрен в сочинении Marie Nonnenberg—Chun „Der französische Philhellenismus in den zwanzigen Jahren des vorigen Jahrhunderts“. Berlin. 1909. Исследователь подчеркивает, что во Франции особенно между 1821 и 1823 г.г. умножаются филэллинистические оды, дифирамбы, стансы и эпиграфы. О тесной связи русского и французского филэллинизма особенно распространяться не приходится. Достаточно указать на большой интерес к Пукевиллю и Фориелю. В письме к брату из Михайловского в апреле 1825 г. Пушкин пишет: „Если можно, пришли мне последнюю Genlis, да Child-Harold Lamartine“. Ламартин сделал то, о чем в свое время писал Пушкину Вяземский, предлагая ему взяться за 5-ю песнь Чайльд-Гарольда. Хотя Пушкин наперед говорит об этой книге: „То-то чепуха должно быть!“, однако упоминание о ней и интерес к ней характерны для настроений этого времени.



одного из главных военачальников — Одиссея на сторону турок привели к тому, что к концу 1825 г. была утеряна греками Морья, а в 1826 г. Миссолунги и Афины. Дело Греции можно было считать тогда проигранным. А внутреннее разложение инсургентов вряд ли могло настраивать кого-либо на лирный лад. Только интересы тогдашней России на Балканском полуострове да благоприятная политика Англии спасли положение вещей, но не внесли во внутренние дела Греции мира и покоя. Вот почему после 1825 г. филэллинистическое настроение у нас заметно падает<sup>1)</sup>.

Так В. И. Туманский<sup>2)</sup> во время пребывания своего в Одессе пишет в декабре 1823 г. „Греческую оду“, начинающуюся словами:

Блещящ и быстр, разит наш меч  
Поработителей Эллады...

<sup>1)</sup> В своей книге „Романтический идеализм в русском обществе и литературе 20—30-х годов XIX столетия“ (П. 1908) И. И. Замотин останавливается между прочим и на филэллинизме в русском обществе, как на одном из мотивов романтизма. Из упоминаемых им пьес ко времени после 1825 г. относятся стихотворная повесть П. Г. Ободовского „Хиосский сирота“ (1828) и на страницах „Галатеи“ (1829) целая поэма „Осада Миссолонги“ (подражание поэме Байрона: Осада Коринфа). Первая была поздним откликом на бедствия, постигшие одну греческую семью в 1822 г., отчасти с целью оказать ей материальную помощь (см. письмо П. Г. Ободовского графу Каподистрии от 24 дек. 1828 г. в „Русск. Стар.“ 1903. № 11. Стр. 359—360). Вторая, как нам кажется, преследует больше чисто литературные задачи (на это указывает и форма произведения), чем является выражением гражданских настроений, которых в ту пору русское общество не переживало. „Повесть“ и „поэма“ не „лирическое воззвание“, как правильно определяет пьесу Пушкина „Восстань, о Греция, восстань!“ И. И. Замотин. Вот почему оба эти произведения посредственных авторов не колеблют нашего положения о том, что к 1829 г. филэллинизм на русской почве совершенно растаял. Письма А. И. Тургенева к брату из Парижа в Лондон 1826—1827 г.г., говорящие о его филэллинизме, пронизаны той атмосферой, которую в Париже создавал гр. Каподистрия, связанный с ним и другими русскими дружественными узами. (Русский Архив. 1895. III. Стр. 73—74 и др.). Поражения греков, начиная с 1825 г., дали поворот настроениям филэллинистического характера и на Западе, и у нас. В этом отношении интересна статья молодого французца Беккера „Картина Греции в 1827 году“, появившаяся на страницах „Московского Телеграфа“ в ноябрьских №№ 21—22 за 1829 г. с следующими замечаниями изд.: „Записки его (Беккера), предлагаемые нами читателям, любопытны, ибо представляют Грецию с новой стороны“. После 1825 г. автор рисует картину полного разложения Греции, которую слыло иностранное вмешательство: „Искавши пособия у иностранцев, — читаем у него — греки пренебрегли все средства к защите. Соперничество партий уничтожало всякое согласие, и каждый думал уже только о себе“... и т. д. Поставленная на сцене Московского театра в феврале 1829 г. „мелодрама“ — „День падения Миссолунги“ — преследовала патриотические цели еще в процессе продолжавшейся войны с Турцией. По крайней мере в рецензии „Моск. Телегр.“ (1829. Февраль, № 3) на эту пьесу читаем после ряда хвалебных слов по адресу греков: „Наконец, в участии Великодушнейшего из Владык земных, воссияла зря спасения для страждущей Греции!“

<sup>2)</sup> Стихотворения и письма под ред. С. Н. Браиловского. П. 1912.

а в начале 1825 г.<sup>1)</sup> „Два сонета“ под общим заголовком „Греция“, где в первом рисуется поработенная страна до восстания:

Казалось, ты погибнула навек,  
И прозябал на славном прахе грек,  
Как вялый мох на мраморе гробницы,

а во втором изображается торжество по случаю, как думалось тогда, окончательного свержения ига:

Восстал, восстал великий дух свободы!  
Сомкнулись в ряд бойцы святого дела  
Грозней твердынь, непоколебимей скал—  
Как Божий гром их меч врага попрад,  
И слава их по миру загремела!

После 1825 г. мы не находим у Туманского ни одного стихотворения, посвященного Греции.

То же самое мы должны будем сказать и о другом филэллинисте Н. И. Гнедиче<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Оба сонета были напечатаны в „Соревнователе Просвещения“. 1825. Ч. XXXI. Последняя, как помечено, вышла из цензуры 1 июля 1825 г. Внизу стихотворения дата „Одесса. 1825“. (Экземпляр, которым мы пользовались, не имеет заглавного листа). Здесь же за тот же год (Ч. XXIX) находим филэллинистическую пьесу В. Григорьева „Гречанка“. Автор обращается к гречанке:

„Прости!“ Зачем слеза в очах?  
Тяжка кровавая обида?  
Не унывай: на небесах  
Не гаснет солнце Леонида,  
И не остыл Эллады прах.

<sup>2)</sup> Стихотворения. П. 1832. В. К. Кюхельбекер в стихотворении „Смерть Байрона“ (Мнемозина. 1824. Ч. III) рисует видение в образе Байрона и его героев, которое зрит

„Певец, любимец россиян,  
В стране Назонова изгнания,  
Немым восторгом обуян  
С очами, полными мечтанья“... (Речь идет о Пушкине).

Далее о Байроне сказано:

Он пал — и средь кровавых сеч  
Свободный грек роняет меч!

И еще:

Бард, живописец смелых душ,  
Гремящий, радостной, нетленной  
Во век пари — великий муж,  
Там над Элладой обновленной!  
Тиртей, союзник и покров  
Свободой дышущих полков!

Д. В. Веневитинов в незаконченном отрывке, датированном 1825 г., „Смерть Байрона“, говорит:

2. Пушкин.

В 1825 г. он издает отдельной книжкой „Простонародные песни нынешних греков“<sup>1)</sup>, где представлена одна только клефтическая поэзия, а раньше в 1821 г. он переводит на русский язык „Военный гимн греков“, принадлежащий поэту-революционеру конца XVIII ст. Риге. И опять таки после 1825 г. и у Гнедича мы не находим ни одной строчки, где бы вспоминалась современная Греция и ее борьба.

Интересно, что упоминавшийся нами уже А. Я. Булгаков, не пропускающий мимо ушей ни одного политического слуха, ни одной московской сплетни, после упомянутого выше увлечения греческим движением в 1821 г., потом скоро почти забывает о нем, и в последующие годы изредка на ходу бросаются им сведения со слов грека Метаксы об успехах греческого оружия. С середины же 1825 г., когда счастье окончательно изменило грекам, письма А. Я. Булгакова о них не упоминают. Даже турецкая война не вызывает к жизни былых ярких симпатий к греческим инсургентам<sup>2)</sup>. В дан-

Стекайтесь, племена Эллады,  
Сыны свободы и побед!  
Пусть вместо лавров и награды  
Над гробом грянет наш обет:  
Сражаться с пламенной душою  
За счастье Греции, за месть,  
И в жертву нашему герою  
Луну поблекшую принести!  
(В. И. Маслов. Ор. cit. Стр. 90—126).

<sup>1)</sup> Для изданных греческих песен в переводе на русский язык Гнедич воспользовался сочинением француза Фориеля: „Les chants populaires de la Grèce moderne“ (1824 — 1825). Романтическому интересу к народности, столь характерному для европейского общества конца XVIII и начала XIX ст., как нельзя более отвечал филэллизм Фориеля, вызвавшего не только самими песнями, но и умелым предисловием к ним подъем живого сочувствия к народу, борющемуся за свою свободу. Гнедич с большим удовольствием цитирует это предисловие. „Ученые европейцы, — читаем в его переводе — в продолжение четырех веков посещая Грецию, отыскивали развалины храмов, прах городов, решаясь наперед восхищаться над следами, часто сомнительными, всего того, что за две или за три тысячи лет было; а восемь миллионов людей, остатки живые древнего народа сей земли классической, бросали без всякого внимания, или говорили об них, как о племени отверженном, падшем, не заслуживающем ничего более, кроме презрения или сожаления людей образованных“. Гнедич. Сочин. Изд. Вольфа 1884. Т. I. Стр. 209. Фориель и Гнедич вызвали на русской почве значительно позднее издание природным греком Г. Эвлампиосом на греческом и русском языках как песенной, так и сказочной поэзии своего народа. Приводя длинную сказку, автор указывает, что она была им записана со слов рассказчика Амаранте в 1823 г., когда он плыл на корабле от острова Псара к острову Андросу. Записывал он ее, потому что „любил с молодых лет записывать все то, что может тронуть, пленить или, просто, занимать сердце человека“. Этот частный пример хорошо отражает эпоху, влюбленную в народное творчество, явившееся через Фориеля одним из корней европейского филэллизма. (Амарантос или розы возрожденной Эллады. П. 1843. Стр. 75).

<sup>2)</sup> В письме от 10 окт. 1829 г. он пишет брату: „Воля ваша, а не идет грекам иметь короля. Это может быть современем, но этому народу надобно лет 20 образоваться под управлением мудрого, добродетельного Каподистрии“. Русск. Архив. 1901. Стр. 362.

ном случае нам интересно не настроение Булгакова. О чем говорят его письма? Они свидетельствуют о том, что в среде московского дворянства, где в 1829 г. вращался Пушкин<sup>1)</sup>, никакого приподнятого интереса к греческим делам не было.

Что касается самого Пушкина, то на его филэллинистическое настроение, кроме лирических пьес, указывают еще письма, писанные им с юга. Для дальнейшего периода его жизни это настроение превратилось уже в воспоминание, о чем свидетельствует его „Программа записок о кишиневском периоде“ (1833), где мы читаем: „Кишинев. — Приезд мой из Кавказа и Крыму. — Орлов. — Ипсиланти — Каменка — Фонт... Греч(еская) рев(олюция). — Липр (анди)“.

Вопреки мнению некоторых пушкинистов, мы утверждаем, что в 1823—1824 г.г. отношение Пушкина к греческому движению было тем же, что и раньше.

„Если летом ты поедешь в Одессу — пишет поэт другу Вяземскому 5-го апреля 1823 г. — не завернешь ли по дороге в Кишинев? я познакомлю тебя с героями Скулян<sup>2)</sup> и Секу<sup>3)</sup>, сподвижниками Иордаки, и с гречанкою, которая целовалась с Байроном“. В том же году Пушкин, повидимому, с увлечением ведет беседы о греческом вопросе со Стурдзой. „Здесь Стурдза монархический; — сообщает он в письме от 14 окт. Вяземскому — я с ним не только приятель, но кой о чем и мыслим одинаково, не лукавя друг перед другом. Читал ли ты его последнюю brochure о Греции? Гр. Ланжерон уверяет меня, qu' il y a trop de bon Dieu“.

В 1823 г. Стурдзой была издана его „La Grèce en 1821 et 1822“, где он в глазах реакционной политики Меттерниха, а также и Александра I хочет оправдать греческую революцию. Кроме того, конечно, эта брошюра рассчитана была и на внимание европейского общества. В духе настроений после-наполеоновской эпохи статья Стурдзы стремится показать, что восстание греков относится к событиям мирового значения: оно теснейшим образом связано с судьбами христианства. „Если бы это пробуждение не было замечательной эпохой, предначертанной в истории христианства, греческая нация уже давно не существовала бы, или она погибла бы теперь, безвозвратно растаявши, как реки, теряющиеся в песках, прежде чем им удастся достигнуть Океана“—<sup>4)</sup> в таких мистических тонах,

---

1) О посещении Пушкиным семьи Булгакова см. письмо от 21 марта 1829 г. Русск. Архив 1901. Стр. 298.

2) Деревушка на молдавском берегу Прута, где один из рассеявшихся отрядов А. Ипсиланти героически сражался против турок. См. „Кирджали“. Пукевиль драматически описал это событие в своей „Histoire de la régénération de la Grèce“. II. Стр. 480—486. Ср. Вигель. Записки. 1892. Стр. 162.

3) Монастырь в Молдавии, куда изменнически был завлечен отряд Иордаки, одного из сподвижников Ипсиланти, и где большая часть этого отряда вместе со своим вождем погибла, героически сражаясь против наступавших турок. См. Пукевиль. III. Стр. 236—241. У Пукевиля Иордаки фигурирует под именем George du mont Olympe.

4) Oeuvres posthumes. Paris. 1861. Стр. 224.

соответственно духу Шатобриана и Жозефа де-Местра, Стурдза защищает греческое дело. Но этого мало. Он дает правовое обоснование оправдываемой им революции. Враг договорной теории происхождения государства, он выводит власть государя из отцовской власти, но подчеркивает, что она не безгранична; враг революций, он всеми силами защищает греческую революцию, как гражданский долг, потому что „греки не подданные Порты в смысле юридическом и христианском“, раз их зависимость от власти заключалась в том, чтобы „раболепствовать, платить и повиноваться“.

Не трудно догадаться, что слова Пушкина „кой о чем мыслим одинаково“ относятся именно к этим вольнолюбивым словам Стурдзы, с которыми так легко сплеталась судьба поэта, деспотическою рукою заброшенного на юг: свобода для него это то же, что свобода для греческого народа. „Ты знаешь,— пишет он брату в начале января 1824 г.— что я дважды просил Ивана Ивановича (Александра I) о своем отпуске через его министров и два раза воспоследовал все-милостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости,— не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится не втерпеж. *Ubi bene, ibi patria*“.

В конце марта 1824 г. Пушкин побывал в Кишиневе. Здесь он встречался со многими греками, которых знал лично. То были греческие солдаты и офицеры. Их в большом количестве он встречал и на улицах Одессы. То были „герои тыла“, спасшиеся от преследований турок на кораблях, курсировавших между Константинополем и Одессой, или перебравшиеся через Бессарабскую границу, делавшие вид, что готовятся идти на войну, а на самом деле наполнявшие Одесские и Кишиневские кофейни... Пушкина смешит, что эти „*gueux, timides, voleurs et vagabonds*“ могли бы составить забавный отряд в русской армии Витгенштейна. „Мы видели — пишет он в июне 1824 г. — новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева, многие из них знакомы нам лично, и мы удостоверяем их полное ничтожество — никакой идеи военного искусства, ни чести, ни энтузиазма“<sup>1</sup>). Еще более резко и, несколько расширяя рамки

<sup>1</sup>) Для характеристики романтического филэллинизма, в атмосфере которого создавались и своеобразные настроения Пушкина, не безынтересно привести сл. „Отрывок из воспоминаний о Черном море“ („Одесский сад“). Н. Ч и ж о в а (Сын Отечества. 1823. Ч. 84. № 12. Стр. 207—214): „Вдали замечаем человека, который широкими шагами, закинув назад руки, идет к нам навстречу: тяжелая дума, кажется, лежит у него на сердце. По одежде я узнаю в нем грека. Потомок Мильтиада и Эпаминонда, соотечественник Платона и Пиндара! Угадываю причину твоих размышлений! Отчизна занимает твою душу. Может быть варвары умертвили твоего отца, брата, друга, может быть... Так! Твоя ненависть справедлива, твое мнение извинительно! Утешься, сын Эллады! Греция не может погибнуть. Уже ли тот пламенный, который возжег просвещение в Европе, должен быть навсегда потушен варварами? Так! Не отчаиваюсь встретиться с тобою на гульбище Коринфском или на площади Афин, найти тебя в долине Темпейской, на берегу Сперхия, или у подошвы древнего Олимпа“.

своего негодования, в том же месяце Пушкин пишет Вяземскому: „Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать как о судьбе моей братьи негров; можно тем и другим желать освобождения от рабства нестерпимого; но чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией — это непростительное ребячество. Иезуиты натолковали нам о Фемистокле и Перикле, а мы вообразили, что пакостный народ, состоящий из разбойников и лавошников, есть законорожденный их потомок и наследник их школьной славы.— Ты скажешь, что я переменял свое мнение. Приехал бы ты к нам в Одессу посмотреть на соотечественников Мильтиада и ты бы со мной согласился.— Да посмотри, что писал тому несколько лет сам Байрон в замечаниях на Child Harold — там, где он ссылается на мнение Фовеля, французского консула, помнится, в Смирне“.

Можно ли принять эти строки Пушкина, как крутой поворот в сторону от „филэллинизма“, которым он был охвачен с 1821 г.?

Интересно, что первое его письмо понятно как раз именно в свете владевших поэтом филэллинистических настроений. Оно оканчивается словами: „Je ne suis ni un Barbare ni un apôtre de l'Alcoran, la cause de la Grèce m'intéresse vivement, c'est pour cela même que je m'indigne en voyant ces misérables revêtus du ministère sacré des défenseurs de la liberté!“

Во втором письме та же ссылка на греков, бесполезно украшавших улицы Одессы, как на основание для возмущения, но неожиданно делается из этой посылки слишком широкое обобщение: „Греция мне огадила“ и т. д. Любопытно, что Пушкин вместо решительного заявления об изменении своего взгляда на греческое дело, так как понимал, что такие слова будут встречены Вяземским с недоумением, бросает только фразу: „Ты скажешь, что я переменял свое мнение“, и в доказательство справедливости своего капризного суждения приглашает его „посмотреть на соотечественников Мильтиада“ в Одессе<sup>1)</sup>.

Если принять во внимание, что это письмо Пушкин писал, находясь в повышенно-раздраженном состоянии от своей ссоры с Воронцовым<sup>2)</sup>, и, конечно, мог ожидать на свою голову новых бед,

1) Ср. В. П. Анненков „Пушкин в Александровскую эпоху“. Стр. 205—207.

2) В своем интересном очерке „Одесса и Пушкин“ проф. Кирпичников говорит: „Взгляд Пушкина на греческое восстание сильно изменился именно в Одессе, и хотя он здесь написал свое известное стихотворение „Встань, о Греция, встань!“, в частных письмах он говорит об этом деле совсем другим тоном, чем прежде“. Однако, в примечании к этим своим строкам он же дает превосходную критику изложенного мнения. „Впрочем, — замечает А. Кирпичников — по моему мнению, принимать это письмо (к Вяземскому) за выражение убеждения Пушкина мы не имеем права: резкие выражения его доказывают не холодность Пушкина к делу греков, а, напротив, свидетельствуют о том, как горячо принимал он к сердцу неудачи несчастного народа, бывшие результатом его недостатков, которые в свою очередь были результатом долговременного рабства. Пушкин мог бранить с такой страстностью только того, кого он сильно любил и кто временно приводил его в отчаяние; он сам в этом письме ссылается

если вспомнить, что Вяземский ожидал от него на смерть Байрона как бы 5-й песни к Чайльд-Гарольду, где не могла не фигурировать Греция (Пушкин пишет: „Твоя мысль воспеть его смерть в 5-й песни его Героя прелестна — но мне не по силам“), — тогда станет ясным, что язвительные фразы этого письма: „Тиверий рад“, „европейский образ мыслей графа Сеяна“, не обошли мимо и Грецию, которую можно было хлестать, ссылаясь на бродивших по Одессе ничтожных „соотечественников Мильтиада“, воспевать которых ему было не по силам.

Что только сильным возбужденным состоянием („А у меня голова кругом идет“) можно объяснить такую тираду против Греции в ту пору, на это указывает третье письмо все того же месяца, как ответ на упреки друзей за такого рода заявления с его стороны по адресу греков. „С удивлением слышу я — пишет он, м. б., А. Н. Раевскому — что ты считаешь меня врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства (Мне случалось иногда говорить о Греции) Видно слова мои были тебе странно перетолкованы. (Повторяю тебе чтоб оправдаться) Но чтобы тебе не говорили, ты не должен был верить чтобы когданибудь сердце мое недоброжелательство(вало) благородным усилиям возрождающегося народа. Жалея, что принужден оправдаться перед тобою, повторяю и здесь то, что случалось мне говорить касательно греков. Люди по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы; старая истина, которую все таки не худо повторить — Они редко терпят противуречия, ни-

---

на мнение Байрона, который действительно бранит греков, что не помешало ему отдать за дело их жизнь свою. Кроме того, письмо это написано очевидно, в такую минуту, когда поэт был недоволен и самим собою и всем на свете, а кому неизвестно, что в раздражении Пушкин в письмах к приятелям увлекался до крайности? Наконец, Пушкин опровергает сам себя в черновом письме, писанном (к Раевскому?) около того же времени“. Непонятно, как с такой ясной мыслью А. Кирпичников мог впасть в противоречие с самим собою. (А. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы. П. 1896. Стр. 164). Ср. восторженные слова Пушкина по адресу Байрона, где греки названы „страждущим человечеством“: „благороднейшая и чистейшая жертва, принесенная им страждущему человечеству: смерть его в стенах осажденной Миссолонги“. Соч. Пушкина. Изд. Бр.-Ефр. Т. VI. „Анекдот о Байроне“ (Заметка извлечена из „Литературной Газеты“ 1830 г.) Стр. 203.

Приводимые строки вполне гармонируют с его серьезными мыслями по адресу греческой революции еще в 1824 г. Когда он сам хотел видеть себя по другую сторону Черного моря, поступок Байрона должен был поднимать в его глазах значение греческого движения, на котором, как порыве к свободе, останавливал он свой поэтический взор. Этому должны были способствовать сообщения о тех жертвах, которые готов был принести грекам Байрон. Так, в № 47 „Сына Отечества“ за 1823 г. было напечатано: „Из Цефалонии пишут от 16 сентября: „Недель за шесть пред сим прибыл сюда Лорд Байрон, в намерении отправиться к грекам, и служить им своею особою и имуществом. Он объявил готовность свою сделать им единовременное приношение в 5.000 ф. ст. (120.000 р.) и ежегодно жертвовать по 3.000 ф. ст. (72.000); но по причине несогласий между тамошними начальниками, не решился еще сам туда ехать“.

когда не прощают неуважения; они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяют всякую новость; и к ней привыкнув уж не могут с нею расстаться. Когда чтонибудь является общим мнением, то глупость общая вредит ему столь-же, сколько общее единодушие ее поддерживает. Греки между европейцами имеют гораздо более вредных поборников, нежели благоразумных другие. Ничто еще не было столь народно, как дело греков, хотя многие в политическом отношении были важнее для Европы“.

Не чувствуется ли в этих последних словах отзвука влияния цитировавшейся выше брошюры Стурдзы?

Итак Пушкин мог бранить греков, в особенности слонявшихся по Одессе и Кишиневу, мог иногда обрушиваться на Грецию в целом; он не хочет „бредить“ ею, но это противоречие, по его же словам, никоим образом не затемняет основной идеи: „Ничто еще не было столь народно, как дело греков“.

Перейдем теперь к стихотворению „Восстань, о Греция, восстань“, которое, как мы указывали выше, в последнее время относят к 1829 году.

Вот текст в исправленном виде, как его дает М. Л. Гофман:

Восстань, о Греция, восстань --  
Недаром напрягала силы  
Недаром потрясала брань  
Олимп и Пинд и Фермопилы

Страна героев и богов  
Расторгла рабские вериги  
При пеньи пламенных стихов  
Тиртея, Байрона и Риги

Под сенью ветхой их вершин  
Свобода юная возникла  
На гробах Перикла  
мраморных Афин.

Прежде всего бросается в глаза созвучие настроений и даже некоторых слов-образов здесь и в пьесе Туманского „Греческая ода“. У Пушкина: „Восстань, о Греция, восстань;“ у Туманского: „Восстал, восстал великий дух свободы!“ У Пушкина: „На гробах... мраморных Афин“; у Туманского: „...вялый мох на мраморе гробницы“.

Кроме того, интересно то, что обе пьесы говорят о „свободе“, как о совершившемся факте<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> О близких отношениях в Одессе между Пушкиным и Туманским свидетельствует Липранди, рассказывая об интересе Пушкина к народным молдавским песням: „...Когда я был в Одессе, Пушкин поспешил мне сказать, что он все сказания привел в порядок, но не будучи совершенно доволен, отдал прочитать одному доброму приятелю (кажется, Василию Ивановичу Туманскому) и обещал взять от него и показать мне“. Русск. Арх. 1866. Стр. 1410. Об этом же красноречиво говорит и письмо самого Пушкина к Туманскому, писанное через год после отъезда из Одессы (13 авг. 1825 г.): „Об Одессе кроме газетных известий, я ничего не знаю, напиши мне что-нибудь. О себе скажу тебе, что я совершенно один.. Что ты? что твоя поэзия? Сделай милость, не забывай своего таланта“.



Как мы уже говорили, наивысший успех греческого восстания приходится как раз на 1824-й и начало 1825-го года. Это обстоятельство настроило на лирный лад В. И. Туманского; может быть несколько раньше оно внушило Пушкину взяться за перо и сделать первый набросок рассматриваемой пьесы.

Для отнесения ее к указываемому времени могут послужить еще и следующие косвенные доказательства.

Пушкин говорит:

Недаром потрясала<sup>1)</sup> брань  
Олимп и Пинд и Фермопилы

Нетрудно допустить, что упоминания данных мест, а, например, не Миссолунги, объясняется тяготением к Классической Элладе, но все же Пушкин был слишком реалист, чтобы жертвовать действительностью в угоду приятным созвучиям. Отсюда мы делаем заключение, что он должен был знать о военных действиях, связанных с этими местами. Откуда?

Главным писателем, знакомившим европейское общество с событиями на Балканском полуострове в первой четверти XIX столетия, был француз Пукевиль (Pouqueville). На него ссылается Байрон в одном из примечаний ко II-ой песни Чайльд-Гарольда, хотя и не доверяет его сообщениям; его с увлечением читают у нас<sup>2)</sup>.

15 июля 1824 г. А. И. Тургенев пишет кн. Вяземскому: „Читаю Бенжамена Констана „Sur la religion“ и „Возрождение Греции“ Пукевиля“... 13 августа того же года Вяземский, получивший от Волконской упомянутое сочинение Пукевиля, сообщает Тургеневу: „Волконская дала мне читать Пукевиля „La régénération de la Grèce“. Это эпопея, то-есть, по содержанию, а не по силе эпопейщика, хотя есть в нем жар и живопись. Что говорит об этой книге Дашков? Можно ли во всем верить Пукевилю? Жаль, что должен прочесть его наскоро: голова кружится от собственных имен людей, городов, чинов. Что за диавол этот Али-паша? Есть ли перевод надгробной речи патриарху, убитому в Царьграде, говоренной в Одессе? Дай мне ее“. Упомянутое сочинение Пукевиля хорошо известно и в Одессе. Кн. Вяземская, проводившая лето 1824 г. в Одессе, 23 июня 1824 г. пишет мужу: „As-tu connoissance d'une

<sup>1)</sup> В редакции Анненкова — „потрясает“.

<sup>2)</sup> С „Voyage dans la Grèce“ Пукевиля хорошо знаком Гнедич, ссылающийся на него и указывающий на его неточности в своем издании „Простонародных песен нынешних греков“. (См. „Стихотворения“. 1832. Стр. 242. См. также его „Сочинения“. I. 1884. Изд. Вольфа. „Введение“ к клефтическому песням греков). О том, что сочинения Пукевиля для европейского общества были главным источником, на основании которого составлялось мнение о греках и греческой борьбе за свободу, свидетельствуют между прочим записки француза Беккера, напечатанные в ноябрьском № 21 „Московского Телеграфа“ за 1829 г. под заглавием: „Картина Греции в 1827 году“. Рассматривая события в Греции трезво, без романтического флера, автор пишет: „Мы изучали Грецию не в возгласах г-на Пукевиля: некоторые книги, менее прославленные и более основательные, показали нам, какова была Греция под властью турков, прежде восстания“.

brochure de Stourdza ou veux-tu que je te l'envoie, ainsi que l'ouvrage de Pouqueville, dont j'espère faire l'emplette bientôt?"

Возможно, что Пушкин, так близко стоявший к кн. Вяземской, больше всех других вводил ее в круг филэллинистических настроений, давал ей брошюру Стурдзы, которая его заинтересовала, и помогал приобрести Пукевиля.

Во всяком случае для нас несомненно, что, при общем интересе к данному автору и жадности Пушкина до книг, в общем потоке филэллинистических настроений он не мог не прочитать ее. А в свете „Histoire de la régénération de la Grèce“ становится яснее упоминание в стихотворении—Олимпа, Пинда и Фермопил.

Жители Олимпа, по сообщению Пукевиля, принимали деятельное участие в восстании; он называет их „les lions d'Olympe“. О жителях Пинда и Парнаса говорится следующее: „Echappés à tous les conquérants, les enfants du Pinde et du Parnasse<sup>1)</sup> chantaient encore les victoires de Miltiade, de Pyrrhus, et d'Alexandre“... И те и другие часто фигурируют, как участники борьбы за освобождение. О Фермопилах он упоминает неоднократно, особенно по связи с поражениями, которые несколько раз пришлось здесь понести туркам; здесь же была одно время „главная квартира“ одного из вождей восстания—Одиссея<sup>2)</sup>. Ни в „Сыне Отечества“, где давались краткие сочувственные сообщения о ходе греческого восстания, ни в „Journal d'Odessa“, помещавшем подробные обзоры событий<sup>3)</sup>, мы не встречались с указанием на роль этих мест в борьбе греков за независимость. Отсюда делаем заключение, что легче всего упомянутые названия были навеяны чтением названной книги Пукевиля.

Есть еще одно косвенное доказательство, свидетельствующее о возможной связи пушкинской пьесы с „La régénération de la Grèce“ Пукевиля. В конце своего труда он сообщает о впечатлении, произведенном приездом Байрона в Миссолунги на греков: „Un incident qui attira l'attention particulière du gouvernement, fut l'arrivée du moderne Tyrtée; lord Byron<sup>4)</sup>, le front ceint des lauriers du Parnasse,

1) В черновике пьесы Пушкина, воспроизведенном Гофманом, первоначально значилось так: „Парнас и Пинд и Фермопилы“; на месте зачеркнутого слова „Парнас“ поставлено сверху „Олимп“.

2) Упоминания в „Hist. de la régénér. de la Grèce“ об Олимпе: I, стр. 6, 192; III, стр. 146, 526, 539; о Пинде: I, стр. 4, 51, 217; II, стр. 35; о Парнасе: I, стр. 4, 248; II, стр. 55, 387, 552; III, стр. 113; о Фермопилах: II, 24, 35, 85, 550, 551, 557; III, 148, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 398—401, 545.

3) См. в сохранившемся комплекте за 1824 г. обозрение событий за минувший год в № 7, 9 и сообщения почти в каждом номере о текущих событиях в Греции.

4) Упоминания о деятельности Байрона в Миссолунги см. Journal d'Odessa, 1824, № 38 (май); № 40 (май), где о нем сообщается: „On a reçu des lettres au lord Byron de Missolonghi; elles portent la date du 16 Mars. Le Barde philhellène prend une part très-active aux affaires de la Grèce“; № 45 (июнь)—корреспонд. из Константинополя и большая перепечатка из „Conservateur Impartial“ о Байроне по поводу его смерти, сообщенной в

abordait à Missolonghi, avec des presses, des artistes, des ingénieurs et des artisans“. Здесь Байрон назван „современным Тиртеем“. Эти два имени поставлены рядом, хотя роль их была совершенно различна, о чем дальше и говорит Пукевиль. Кроме того, в этой книге Пукевиль приводит в подлиннике и французском переводе впервые „strophes terribles“ фессалийского поэта Риги, казненного турками в 1798 г. Они начинаются словами: „Ὠς ποῦτε, παλληγάρια“... Об этих строфах Пукевиль говорит, что они кажутся сочиненными не в конце XVIII ст. (1797 г.), а накануне восстания и для него.

До 1824 г. Пушкин мог слышать только военный гимн греков, принадлежащий Риге: „Δεῦτε πᾶδες τῷ ἐλλάγων“. Он мог его знать непосредственно из уст греков; надо полагать, ему был известен перевод, сделанный в 1821 г. Н. И. Гнедичем<sup>1)</sup>. Во всяком случае нет оснований допускать, как это делает Шляпкин и Лернер, что с этим гимном в урезанном и измененном виде Пушкин познакомился только по переводу Байрона во II-ой песни Чайльд-Гарольда. Однако, в разгар своего филэллинизма он нигде не обронил ни одного слова, которое свидетельствовало об интересе к этому гимну, хотя и упоминает в одном месте о Риге<sup>2)</sup> до пьесы „Восстань, о Греция“... Опять таки не навеяно ли это внимание к гре-

---

предыдущем № от 1 июня 1824 г., где приводится обращение греческого правительства к нации, в котором говорилось: „Смерть этого знаменитого человека является печальнейшим событием для всей Греции“...

<sup>1)</sup> Перевод далек от точности. [Ср. французский перевод в прозе в книге Стурдзы „L'Europe Orientale“. Стр. 279—280. (Примечание)]. Этот перевод был напечатан в „Вестн. Евр.“ за 1821 г. Ч. СХХ. Там же другой перевод гимна, подписанный греческими инициалами Δ. Σ. См. В. И. Ма с л о в а „Лит. деят. Рылеева“. Стр. 150.

<sup>2)</sup> „Notice sur la révolution d'Ipsylanti“: „Le Hospodar Ipsylanti trahit la cause de l'Éthérie et fut cause de la mort de Riga“... П. Анненков. „Пушкин в Александровскую эпоху“. П. 1874. Стр. 202 (примечания). Данный отрывок, начало которого мы привели, и следующие два на французском языке, свидетельствуют о том, что Пушкин заинтересовался началом возникновения гетерии, что относится к концу XVIII ст. и связано с именем поэта Риги или, как его называют в другой транскрипции, Ригаса. Он состоял секретарем А. Ипсиланти I, бывшего несколько раз господаром Валахии и Молдавии. В период первого его управления (1774—1782) Валахией, около 1780 г. Ригас основал первую гетерию (ἐταίρια τῶν φίλων). Французская революция внушила ему большие надежды. Его дальнейшим намерением было соединить всех греков в одну гетерию. Сношения его с Наполеоном, готовившимся к походу в Египет и желавшим затруднений для Порты, привели к тому, что Ригас был арестован в Триесте австрийскими властями и передан в руки Белградскому паше. Его последними словами были: „Ainsi périssent les palikares, mais j'ai semé assez de semence, l'heure viendra où m'ou le peuple récoltera“. А. Ст о у р д з а „L'Europe Orientale“. Р. 1913. Стр. 279—280.

Стурдза ничего не говорит о предательской роли господаря Ипсиланти. Сведения, записанные Пушкиным в его „Notice“, были вероятно, рассказаны ему греками, среди которых он вращался. Не согласуется и сообщение об Иордаки с тем, что говорит о его судьбе Пукевиль. Вообще „Notice“ требует исторического комментария, которого нет.

ческому национальному поэту именно чтением сочинения Пужевиля, уделившего ему большое внимание? Вот почему строки:

При пеньи пламенных стихов  
Тиртея, Байрона и Риги!

кажутся более связанными с живыми настроениями 1824 г., как и весь характер стихотворения с его призывом: „Восстань, о Греция, восстань!“

Но как быть тогда со следующим заявлением М. Л. Гофмана: „Анненков не обратил внимания на то, что черновик пьесы написан на одном листе, тем же самым почерком, в то же самое время, с черновиками пьесы „Опять увенчаны мы славой (по поводу Адрианопольского мира 1829 года) и первоначальной восьмой главы<sup>1)</sup>“... Лернер говорит<sup>2)</sup>: „По сообщению г. Шляпкина стихотворение написано на четвертой страничке оборванного и сложенного полулиста бумаги 1830 г.“ Относительно последней даты, устанавливаемой на основании водяного клейма<sup>3)</sup>, Гофман замечает: „И. А. Шляпкин печатает пьесу под 1830 годом, водяного же клейма „1830 г.“ на бумаге не существует, ибо бумага оборвана после первых двух цифр „18“, о начале третьей цифры можно только догадываться, а четвертой нет и не может быть и в помине“...

Шляпкин сделал три предположения относительно расхождения Анненковской датировки (1823) и напечатанного им текста с имеющимся у него на руках черновиком<sup>4)</sup>. Одно из них, им самим взятое под сомнение, гласит: „Пушкин в 1829 г. снова возвратился к старому, тогда еще ненапечатанному, стихотворению, и задумал переделать его на новую тему“.

Эта гипотеза, несмотря на то, что она ни одним из комментаторов не принята во внимание, после всего сказанного, кажется нам наиболее вероятной. Таким образом легко объясняются те разночтения, которые дает Анненков („напрягаешь силы“, „потрясает брань“, „расторгни рабские вериги“) и Гофман („напрягала... потрясала... расторгла“<sup>5)</sup>): Адрианопольский мир всколыхнул воспоминания поэта

1) Речь идет о „Евгении Онегине“.

2) Русск. Библиофил. 1911. № 5. Стр. 64.

3) Шляпкин. „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина“. П. 1903. Стр. 15.

4) П. А. Ефремов по поводу этого черновика говорит „Листок от Анненкова перешел к г. Шляпкину, но повидимому не тот, по которому печатал Анненков, а сделанный по памяти, на бумаге 1830 года, вслед за новыми стихотворениями, набросанными по поводу войны 1828—1829 г.“ Соч. Пушкина в изд. Суворина. 1905. Т. VIII. Стр. 196.

Что касается нашего расхождения с предположительной датировкой Анненкова, издавшего пьесу под заглавием „План стихотворения в честь Греции“, то оно вызвано, как мы старались показать, исключительно соображениями, навеянными изучением обстановки, в которой находился тогда Пушкин, и того, на чем не могло не останавливаться его внимание, прикованное к перипетиям борьбы греков за свою свободу.

5) На последнее чтение указал уже Шляпкин.

и, набрасывая на 3-ей стр. „сложенного полулиста“<sup>1)</sup>: „Опять увенчаны мы славой“, — на 4-й, имея под рукою другой черновик, относившийся, как мы полагаем к 1824 г., он вновь набрасывает незаконченную пьесу, поправляет ее, может быть, даже думает из двух пьес создать „одно целое“<sup>2)</sup>, но оставляет начатую работу в новом черновике, т. к. для филэллинистических увлечений время давно прошло, а для патриотических восторгов Адрианопольский мир давал не так много. Анненков же воспользовался той редакцией, которая могла быть отнесена к 1823 — 1824 г.<sup>3)</sup> и более соответствовала тому настроению, которое его создало в период живого внимания к греческим делам не одного только Пушкина...

Последняя из отмеченных нами пьес в кругу филэллинистических настроений поэта „Ода Хвостову“ относится к 1825 г.; датируется концом апреля; писана она в Михайловском. Еще тень Байрона бродит в кругу лиц, с которыми тесно связан Пушкин. Он сам его часто вспоминает. Еще филэллинистические настроения, с которыми поэт покинул юг, не вполне рассеялись под впечатлением поэтической смерти Байрона и того ореола, которым она была увенчана именно по связи с борьбой греческого народа за освобождение, как в некрологах, журнальных заметках, так и в ряде

1) Шляпкина. Op. cit. Стр. 18.

2) Допущение И. А. Шляпкина.

3) В первом своем комментарии, по поводу суждения проф. Шляпкина, Лернер совершенно правильно отметил, что автограф, находившийся в его руках, „представляет столь существенные отличия от напечатанного Анненковым текста, что, зная точность этого издателя, приходится заключить, что Анненков напечатал стихи с другого оригинала, который нам ныне неизвестен“ (Пушкин. Сочинения Изд. Бр.-Ефр. Т. II. Стр. 615). Ошибка Лернера заключалась в том, что он со свойственной ему торопливостью отнес эту пьесу к 1821 г., а затем с такою же торопливостью, забыв свое мнение о работе Анненкова, спешит присоединиться к мнению Гофмана и обрушивается на первого в сл. выражениях: „У Анненкова двух черновых редакций не было, а была только одна, описанная г. Шляпкиным черновая, которую Анненков переделал начисто, переставив строфы, и вратив иные слова, но из некоторой осторожности предупредив читателя, что это не вполне отделанная автором пьеса, а только „план“. За Анненковым, во времена которого, впрочем, надо заметить, еще далеко не были выработаны правильные научные приемы, числится много погрешностей подобного рода“ (курсив везде наш) (Русский Библиофил. 1911. № 5. Стр. 64). Не знаем, насколько такого рода приемы рассуждений свидетельствуют о большей выработанности „правильных научных приемов“ нашего времени по сравнению с „временами“ Анненкова, но можем сослаться на сл. достаточно веское мнение об издании сочинений Пушкина Анненковым: „Полное доверие к этому авторитету читателем получалось с первых же страниц издания: все говорило о необыкновенной тщательности изучения редактором - издателем всех подлежащих материалов, как печатных, так и рукописных, — о глубоком сознании важности принятого им на себя дела, наконец, о том общем „благоговении“, которое действительно всюду проявлялось редактором к издаваемому им писателю. По причинам, совершенно непонятым, — это „благоговение“ очень мало было выказано даже ближайшими друзьями поэта“... А. Архангельский. Академическое издание сочинений Пушкина. „Русский Филологический Вестник“, 1900. Т. 43. Стр. 98.

лирических пьес и у нас, и за границей. Однако Байрон, греческое движение в душе поэта начинают уступать место другим образам и настроениям: он нашел себя в „Евгении Онегине“ и осознал это. А. А. Бестужеву, совершенно не понявшему этого произведения, Пушкин отвечает в письме от 24 марта: „Твое письмо очень умно, но все таки ты не прав, все таки ты смотришь на Онегина не с той точки, все таки он лучшее произведение мое“.

Прекрасный стилистический анализ „Оды Хвостову“, сделанный Ю. Тыняновым, заканчивается таким выводом<sup>1)</sup>: „Смерть Байрона, в которой и Пушкин видел „высокий предмет для поэзии“, была прежде всего благодарным поводом для воскрешения оды, который архаисты и использовали. Таким образом, „Ода графу Хвостову“ явилась полемическим ответом воскресителям оды, причем пародия на старинных одописцев явилась лишь рамкою для полемической пародии на современных воскресителей высокой оды, к которым принадлежали Кюхельбекер и, в некоторой степени, Рылеев“.

Эта яркая сатира, о которой А. И. Тургенев в письме к Вяземскому сказал, что она „прелесть“, пародируя, затрагивает события, к которым еще так недавно Пушкин подходил не с „резвоскачущим“ настроением.

„Ода“ начинается так:

Султан ярится. Кровь Эллады  
И резво скачет, и кипит  
Открылись грекам древни клады,  
Трепещет в Стиксе лютый Пит.  
И се — летит продерзко судно  
И мечет громы обоюдно.  
Се Бейрон, Феба образец,  
Притек, — но недуг быстропарный  
Строптивный и неблагодарный  
Взнес смерти на него резец.

В примечаниях, данных самим Пушкиным к этому стихотворению, отмечается, что „резво скачет“ — „слово употребленное весьма счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером в стихотворном его письме к г. Грибоедову“ (Там сказано „резвоскачущая кровь“), и далее, что „под словом клады должно разуметь правдивую ненависть нынешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким челмоносцам“... И тон пьесы, и тон примечаний составляют одно сатирическое целое...

Еще недавно у Пушкина было серьезное настроение по отношению к теме о борьбе греков за свою независимость. В упоминавшемся письме к Вяземскому из Одессы Пушкин в раздражении обрушивается на греческое движение, но не высучивает предложения друга „воспеть“ Байрона „в 5-й песни

<sup>1)</sup> Ю. Тынянов. „Ода его сиятельству графу Хвостову“ в „Пушкинском сборнике памяти проф. С. А. Венгерова“. П. 1923. Стр. 92.

его героя". Наоборот, эта мысль ему кажется „прелестной". И если он не находил в себе „сил" создать новую песнь, как бы в виде продолжения „Чайльд-Гарольда", где бы Байрон фигурировал на фоне греческой революции, все же поразившая его смерть Байрона вызвала к жизни известные строфы в стихотворении „К морю", где одна строка как будто намекает на желание поэта связать имя Байрона с порывом к свободе греческого народа:

Исчез, оплаканный свободой<sup>1)</sup>...

Как сообщает В. Е. Якушкин, на внутренней стороне задней доски тетради № 2370, хранящейся в Румянцевском музее, рукою Пушкина написано: „1824, 19/7 mort de Byron". Скорее всего он мог узнать об этом событии из упоминавшегося выше № 44 „Jurnal d'Odessa" от 1 июня 1824, где, как нами уже было отмечено, приведено обращение греческого правительства к нации, поистине оплакивавшее неожиданную смерть.

Вот почему слова „оплаканный свободой", нам кажется, говорят о греческой свободе, с которой связал свою судьбу Байрон.

Еще в начале 1825 г.<sup>2)</sup> Пушкин откликается на филэллинистические настроения без тени усмешки или шутки. В письме к Гнедичу от 23 февраля читаем: „Песни греческие прелесть и tout de force. Об остроумном предисловии можно бы потолковать. Сходство песенной поэзии обоих народов явно — но причины?.. Когда ваш корабль, нагруженный сокровищами Греции, входит в пристань при ожидании толпы — стыжусь вам говорить о моей мелочной лавке № 1-й...“ И затем в конце: „23-го февр. День объявления греческого бунта Александром Ипсиланти".

Однако, жизнь вдали от мест, которые были полны известиями и слухами о борьбе греков и турок, интересы поэта, направленные в сторону Москвы и Петербурга, все более и более вырославшее сознание своей художественной силы, одним словом, новые настроения стирали с души, как это обычно случается, оставшиеся следы когда то живых чувств, и позволяли использовать их в форме, далекой от той, в которую они были облечены впервые.

Так выдыхающийся филэллинизм закончился остроумной сатирой, для которой понадобился Байрон на фоне борющейся за свою свободу Эллады.

Через два дня после получения известия о смерти Байрона 26-го мая 1824 г. Вяземский писал Тургеневу<sup>3)</sup>: „Какая поэтиче-

---

<sup>1)</sup> Ср. слова Вяземского в письме к Тургеневу от 26 мая 1824 г.: „Он (Байрон) предчувствовал, что прах его примет земля возрождающаяся к свободе, и убежал от темницы европейской". (Курсив наш). Остафьевский архив. III. Стр. 43.

<sup>2)</sup> Ср. его настойчивое обращение в ноябре 1824 г. к Жуковскому, которого он просит принять участие в судьбе 8-ми летней сиротки, дочери грека, павшего в битве при Скулянах. В сл. письме он как бы упрекает Жуковского за равнодушие: „Дочь героя, Жуковский! Они родня поэтам по поэзии".

<sup>3)</sup> Остафьевский Архив. III. Стр. 48 — 49; 51.

ская смерть,—смерть Байрона! Он предчувствовал, что прах его примет земля возрождающаяся к свободе, и убежал от темницы европейской... Вот случай Жуковскому!.. Греция древняя, Греция наших дней и Байрон мертвый—это океан поэзии! Надеюсь и на Пушкина“. В ответном письме Тургенев так отвечает другу на слова о Байроне: „Смерть его в виду всей возрождающейся Греции, конечно, завидная и поэтическая. Пушкин, верно, схватит момент сей и воспользуется случаем“.

Мы уже знаем, что тогда Пушкин отказался от такой темы для воплощения волновавших его серьезных чувств, но, спустя год, образ смерти Байрона на фоне Эллады, сражающейся за свою свободу, получил свое воплощение, облекшись в форму архаической оды, превращенной в едкую сатиру: яркий контраст мятущейся души Байрона в трагической обстановке и безмятежной фигуры „маститого певца“ графа Хвостова, которого Греция зовет к себе в качестве сенатора, вот что понадобилось теперь Пушкину, чтобы в смехе потопить бездарных эпигонов высокого стиля...

В заключение считаю долгом принести искреннюю благодарность М. П. Алексееву, охотно поделившемуся со мной своими обширными библиографическими сведениями по интересовавшему меня вопросу.

*В. Селинов.*

Одесса  
Январь 1925 г.



## Пушкин и Ланжерон — драматург.

Князь П. А. Вяземский в своем „Дневнике“, в числе нескольких забавных анекдотов о графе Ланжероне, сообщает о нем: „В молодости своей он писал трагедии, как и все мало-мальски грамотные люди во Франции. В Одессе Ланжерон дал Пушкину трагедии свои на прочтенье. Понимается, Пушкин их не прочел и спустя несколько времени, на вопрос Ланжерона, которая из трагедий более ему нравится, отвечал наугад, именуя заглавие одной из них. В ней выведен был республиканец“. (Сочинения, т. VIII, стр. 56 — 58).

Эпизод этот, рассказываемый Вяземским повидимому со слов самого Пушкина, — ибо кто же мог знать, кроме самого поэта, что он данную ему трагедию не прочел? — передается также, с некоторыми дополнительными подробностями, автором статьи о Пушкине, помещенной в 10-й книжке „Русской Старины“ за 1874 год (стр. 687 — 688). Статья анонимна, но исходит, как это видно из редакционных примечаний к ней, от некоего, умершего в 1854 г., „тайного советника“. Б. Л. Модзалевский считает возможным утверждать, что фамилия его — М. М. Попов. (См. Дневник Пушкина, 1923, стр. 251). В статье рассказывается: „В Одессе интересно знакомство его (Пушкина) с графом Ланжероном. Этот французский эмигрант, один из знаменитых генералов великой брани против Наполеона, имел слабость считать себя поэтом, писал на французском языке стихи и даже драмы. Однажды, сработав трагедию, Ланжерон дал ее Пушкину, чтобы тот прочитал и сказал ему свое мнение. Александр Сергеевич продержал тетрадь несколько недель и, как не любитель галиматьи, не читал ее. Через несколько времени, при встрече с поэтом, граф спросил: какова моя трагедия? Пушкин был в большом затруднении и старался отделаться общими выражениями, но Ланжерон входил в подробности, требуя особенно сказать мнение о двух главных героях драмы. Поэт, разными изворотами, заставил добродушного генерала назвать по именам героев, и, наугад, отвечал, что такой-то ему больше нравится. „Так!“ вскрикнул восхищенный генерал „я узнаю в тебе республиканца; я предчувствовал, что этот герой тебе больше нравится!“

Рассказ этот очень похож на простую амплификацию сообщения Вяземского. Разговор-же Ланжерона с Пушкиным на „ты“ нам представляется простою выдумкою. Но в сообщении „анонима“

интересно указание на то, что в данной на прочтение Пушкину трагедии Ланжерона были выведены два героя, и что из двоих Пушкин назвал наугад одного, оказавшегося республиканцем (у Вяземского же Пушкин назвал только заглавие пьесы). Эта деталь, как будет видно из последующего, имеет свое значение.

Что же это за трагедия Ланжерона, которую Пушкин имел в руках, но не прочел? Ни Вяземский, ни „аноним“ не дают ее названия. В общеизвестных иностранных и русских биографиях Ланжерона, когда говорят о его литературной деятельности, упоминается только одно его печатное драматическое сочинение, его комедия в прозе „Le duel supposé“, вышедшая в свет в Париже в 1789 году. Можно было предположить, что Пушкин видел только какую-то рукопись Ланжерона, оставшуюся неизвестной в библиотеке.

Но нет, трагедия эта существует. Она напечатана и вот она пред нами: — она принадлежит к собранию редких изданий Одесской Государственной Публичной Библиотеки (Шифр VI. 3695—Музей). Название ее: „Mazaniello ou la Révolution de Naples. Tragédie en cinq actes et en vers“. (Книжка в 187 страниц в восьмую долю листа, без указания года и места печати и без имени автора). На заглавном листе ее имеется подпись: „par Mr le Comte de Langeron“. Подпись собственноручная графа Ланжерона (что явствует из сличения ее с автографами) и, кроме того, вся книжка испещрена примечаниями и исправлениями, сделанными также рукой графа.

Судя по водяным знакам на ее бумаге (литеры „Е L“ и раковина) книжка была напечатана в России около 1816 года, т. е. во время пребывания Ланжерона в Одессе. Типографский шрифт подобен тому, каким напечатаны одесские издания в 20 годах XIX века.

Для нас не представляло сомнения, что трагедия „Mazaniello“ подлинное произведение Ланжерона, напечатанное им в Одессе. Дальнейшие изыскания вполне это подтвердили. Оказалось, что в знаменитом словаре Барбье „Dictionnaire des ouvrages anonymes“ (Paris, 1875), трагедия „Mazaniello“ отмечена с точным указанием ее автора; отмечены также год и место ее печати. На странице 79—80 словаря значится: Mazaniello ou la Révolution de Naples. Tragédie en cinq actes et en vers. (Par le Comte Alex. Andrault de Langeron, alors gouverneur d'Odessa) S. l. n. a. (Odessa, de l'impr. du Comité des Constructions, 1819) in 8° 4 + 187 p.

Дальше Барбье сообщает (приводим в переводе): „Книга самой большой редкости. Единственный экземпляр, который я видел и который был в моем владении, был испещрен исправлениями. Впрочем, вся книга полна орфографических ошибок и небрежностей типографского характера“.

Оставляя пока в стороне вопрос о том, имел ли Барбье в своих руках наш одесский экземпляр книги, также „испещренный исправлениями“, или какой-либо другой, мы подчеркиваем только цен-

нейшие указания библиографа, подтверждающие, что автор трагедии — граф Ланжерон, и что она была напечатана в Одессе, в 1819 году, в типографии Строительного Комитета.

Так как о какой-либо другой трагедии Ланжерона нигде указания нет, то нам представляется несомненным, что именно это произведение графа, т. е. „Mazaniello“, было передано им на прочтение Пушкину. И есть большое вероятие, что наш одесский экземпляр есть именно тот, который побывал в руках поэта. Трудно допустить, чтобы автор отдал на суд Пушкину экземпляр своего произведения с искаженным типографиею текстом и с неисправленными ошибками.

Заглавие трагедии „Mazaniello ou la Révolution de Naples“ не могло, конечно, не остановить внимания Пушкина. Но впоследствии, когда поэт рассказывал Вяземскому о своей встрече с Ланжероном, он, вероятно, забыл об этом заглавии и сообщил о непрочтенной им пьесе, как о той „в которой был выведен республиканец“.

Так как записи в „Дневнике“ Вяземского и в статье „анонима“ не расположены хронологически, то нельзя установить точно, к какому времени и году относится рассказ о трагедиях. Но о встречах вообще Пушкина с Ланжероном в Одессе мы имеем сведения в письмах и записях самого поэта.

В письме из Одессы от 14 октября 1823 года Пушкин сообщает Вяземскому о своих разговорах с А. С. Стурдзю — монархическим и отмечает, что по поводу брошюры Стурдзы о Греции „Ланжерон уверяет меня „qu'il y a trop de bon Dieu“. Затем в своем „Дневнике“ под датю 12 мая 1834 г. Пушкин подробно говорит об интимных письмах Александра Павловича к Ланжерону, которые показывал ему граф и добавляет: „Ланжерон был тогда недоволен и сказал мне: Voilà comme il m'écrivait; il me traitait de son ami, me confiait tout — aussi lui étois je dévoué. Mais à présent, ma foi, je suis prêt à détacher ma propre écharpe“...

Ланжерон умер в Петербурге в 1831 году. Запись Пушкина от 1834 года и относится, следовательно, к старому времени. Но к какому именно? Слова „Ланжерон был тогда недоволен“ наводят на некоторые догадки. Ланжерон навлек на себя немилость Александра I три раза: в первый раз это было в 1805 году, за неудачные маневры под Аустерлицом (Ланжерону было предложено тогда подать в отставку, но вскоре он был восстановлен в своих чинах и звании); во второй раз граф навлек на себя неудовольствие Александра в 1818 году, в бытность свою Херсонским военным губернатором и Одесским градоначальником, когда он вздумал представить императору непрощенный проект об отмене в России табели о рангах и всех чинов по гражданскому ведомству<sup>1)</sup>; и в

<sup>1)</sup> Этому любопытному документу посвящена статья А. Брикнера „Проект отмены табели о рангах“ — „Северн. Вестник“ 1897, № 7, стр. 43—48, где самый „Projet de supprimer les rangs dans le civil de la Russie“ напечатан в выдержках по рукописи.

третий раз, в 1823 году — за выяснившееся его неумелое управление Новороссийским краем. Ланжерон подал тогда в отставку „за болезнью и преклонностью лет“, но считал себя несправедливо обиженным. Из этого можно предположить, что Пушкин беседовал с „недовольным“ Ланжероном в Одессе либо в 1821 году, либо в 1823-4 годах. Хотя о 1821 годе нет точных сведений, чтобы поэт тогда встречался с графом, но к этому факту приводят следующие соображения.

Когда приехал Пушкин в Одессу в мае 1821 года, с официального разрешения И. Н. Инзова, он, по обычаю того времени и как чиновник, не мог не представиться градоначальнику, т. е. Ланжерону. Кроме того, у него были тогда и личные мотивы для свидания с графом. Интересуясь только что закончившимися сборами греческих инсургентов, Пушкин мог нуждаться в содействии графа для более свободного ознакомления с делами одесских гетеристов, к которым Ланжерон относился, если не с слепым покровительством, то со скрытым доброжелательством. Вспомним также, что Пушкин, привлекаемый П. С. Пушным в устраиваемую в Кишиневе масонскую ложу, не мог, естественно, не заинтересоваться масонами одесскими, во главе которых, в ложе „Понт Евксинский“, состоял тогда гросмейстером Ланжерон.

Весьма возможно, что именно в этом 1821 году Ланжерон показывал Пушкину свои интимные письма и тогда же дал ему на прочтение свою трагедию „Mazaniello“ (за два года до того напечатанную). Но конечно, не лишено вероятия и то, что это произошло во второй приезд Пушкина в Одессу в 1823 году, когда Ланжерон, тогда тоже недовольный и ушедший в отставку, оставался без дела в Одессе до своего отъезда, в начале 1824 года, за границу.

Можно сказать с несомненностью одно, что когда бы ни встретился Пушкин с Ланжероном, этот последний всегда мог поделиться с ним какими-нибудь своими старыми или новыми литературными произведениями. Ланжерон писал всю свою жизнь. Он был не только отважным боевым генералом, но и весьма плодовитым писателем.

Напомним вкратце его биографию. Граф Александр Федорович Ланжерон (Louis-Alexandre-Andrault, Chevalier comte de Langeron) родился в Париже в 1763 году. Принадлежал к знатному и древнему, но мало имущему роду. Служил в королевской гвардии и был близок ко двору Людовика XVI. По прибытии в Париж Вениамина Франклина, юношески увлекся восстанием английских колоний в Америке и вместе с другими молодыми аристократами присоединился в чине лейтенанта флота к экспедиционному корпусу графа де-Рошамбо. Участвовал в Северной Америке в нескольких морских и сухопутных сражениях и вернулся на родину в 1783 году с орденом Цинцинната. Стал заниматься писательством. Одну из своих драматических пьес „Le duel supposé“ издал в Париже в 1789 году. В начале Революции состоял в военной охране Вер-

ся. В конце 1789 года, после знаменитой ночи 4 августа, отнявшей у него графский титул и все родовые привилегии, принял участие, по приглашению известного памфлетиста М. Paltier, в редакции политическо-сатирических брошюр: „Les actes des Arôtres“, издававшихся на средства из собственной кассы короля в противовес листкам, выпускавшимся революционерами. В этих брошюрах, критиковавших все действия Учредительного Собрания в прозе, в стихах и даже в драматической форме, авторами были многие остроумные писатели монархического толка (они называли себя „Les arôtres de la liberté et de la démocratie royale“); но они не подписывали своих произведений, так что трудно установить, что именно в „Актах“ принадлежит перу Ланжерона. „Actes des Arôtres“ продержались до октября 1791 года, когда были прекращены выпуском, по желанию самого короля; но Ланжерон вышел из редакции раньше, еще в начале 1790 года и тогда-же выехал из Франции.

Ланжерон был племянником известного в истории Екатерининской эпохи графа Рожера де Дама, своевольно покинувшего Францию в 1789 году и поступившего в русскую армию. Из Петербурга он, опять таки своевольно, отправился в войска Потемкина, с которыми участвовал в осаде Очакова и Измаила и за свою храбрость получил Георгия. Далее Ланжерон последовал за своим дядей в Россию, где Екатерина использовала его боевой опыт в войне со Швецией, а потом откомандировала его в Новороссию, снабдив его письмом к Потемкину. Наблюдательный француз близко познакомился со двором Бендерского сатрапа и живо описал его потом в своих мемуарах. Участвовал в штурме Измаила в 1790 году под начальством де-Рибаса вместе с другом своим — Фронсаком (впоследствии герцогом Ришелье). После Ясского мира окончательно перешел на службу России. Находился в 1799 году в Петербурге, где принял русское подданство и весьма деятельно участвовал в событиях, подготовивших переворот в 1801 году. Умудрился быть одновременно другом императора Павла, который возвел его в графское достоинство Российской Империи, и наследника цесаревича Александра Павловича, который с ним интимно переписывался, и с главными заговорщиками, которые доверяли ему свои тайны. При Александре продолжает свою боевую службу. Из двойственной лояльности — к низвергнутому дому Бурбонов и к своему новому отечеству — России, с легким сердцем и с неизменною отвагою сражается против Франции Наполеона. Терпит неудачу под Аустерлицом в 1805 г., за что вынужден был, тотчас после сражения подать в отставку; но за то в отечественную войну возвращает себе весь свой военный престиж — бьет французов под Борисовым и Березиной, отличается в битве народов под Лейпцигом и вынуждает Париж к капитуляции взятием штурмом высот Монмартра 18 марта 1814 года, за что получает из рук императора Александра знаки и ленту Андреевского ордена. Содействует Блюхеру в битве под Ватерлоо. Руководит возвращением на родину русских войск.

Неизменный друг герцога Ришелье, Ланжерон назначается в 1815 г. по рекомендации самого Ришелье, его заместителем по управлению Новороссийским краем (сначала Херсонским военным губернатором и градоначальником Одессы). Мало способный на гражданской службе, он управляет краем плохо, но для Одессы делает много, продолжая благотворную деятельность Ришелье: вводит порто-франко, учреждает Ришельевский лицей, основывает в Одессе первую газету и т. д. и т. д.

Пушкин застаёт Ланжерона в Одессе в 1821 году, когда он был уже в полной немилости у Александра. Предложение проекта об отмене табели о рангах, открытая поддержка сборов греческих инсургентов, вопреки намерениям правительства, ссоры с одесским магистратом, демонстративное масонство (Ланжерон открыто вербовал в свою ложу всех чиновников генерал-губернаторской канцелярии и виднейших общественных деятелей города) — все это раздражало императора. В 1822 году Ланжерон подает в отставку за „преклонностью возраста“, хотя ему еще не было 60 лет. До 1824 года он остается в Одессе, затем отправляется за-границу, во Францию, откуда возвращается в Россию лишь в 1826 году, когда новый император Николай возвращает ему монаршее благоволение, приглашает его к участию в коронации и возводит его в члены верховного суда над декабристами. В 1828 — 29 годах, в возрасте 66 лет, Ланжерон берется вновь за боевое оружие и участвует в войне против Турции. Достигает высших военных чинов и мечтает о фельдмаршальском жезле, но не получает его. Окончательно подает в отставку и умирает в Петербурге в 1831 г. от холеры, согласно собственному своему предсказанию.

Богатая, интересная событиями и встречами жизнь Ланжерона давала ему обильный материал для наблюдений, и он использовал их для своих исторических трудов, рукописи которых составляют шесть больших фолиантов. После смерти графа, вдова его передала эти рукописи в Парижский Национальный Архив. Ими пользовались проф. Брикнер, Шильдер, В. К. Николай Михайлович и другие. Изданы отрывки, относящиеся к характеристике Потемкина и его деятельности, а также записки о заговоре против Павла, материалы об отечественной войне (специально о кампании 1812—1814 г.г.) и др., но большая часть трудов Ланжерона остается еще неиспользованной.

О Ланжероне шло много рассказов в Одессе и в Петербурге, в которых он характеризуется как человек крайне легкомысленный, рассеянный, болтливый и не без оттенка самодурства. Известен отзыв о нем в воспоминаниях Вигеля: „ветреннейший и болтливейший из французов, человек минуты, храбрый, но невероятно рассеянный, он способен был забывать, что находится в бою среди огня“, и дальше: „с тех пор, как свет стоит, неосновательнее его еще ничего видно не было и т. д.“ Но такие отзывы односторонни и отражают больше личность тех, кто описывал графа, нежели его самого.

Полная характеристика Ланжерона не входит сейчас в нашу задачу. Нам хотелось только, напомнив вкратце его биографию, подтвердить мнение тех писателей, как Бартенев, Модзалевский и другие, которые говорили, что Ланжерон представлял для наблюдательного Пушкина большой интерес не только как поэт и драматург, но и как своеобразная историческая личность.

Как драматурга мы знаем Ланжерона только по вновь найденной нами его трагедии „Mazaniello“. Его комедию „Le duel supposé“ мы не видели, и содержание ее нигде не описано. Что же представляет из себя „Mazaniello on la Révolution de Naples?“ Если Пушкин действительно не прочитал этой трагедии, то он потерял немного. В ней Ланжерон обнаружил верх своего литературного легкомыслия. В своем „послесловии“ к пьесе автор простодушно говорит (приводим его слова в переводе): „я удивляюсь, что сюжет этой трагедии никем не был разработан и я огорчен тем, что я первый взялся за него. Он мог бы вдохновить на хорошую пьесу, а моя — далека от этого. Это мое первое драматическое произведение (курсив наш) и несмотря на стоивший мне долгий и упорный труд, несмотря на старания, приложенные мною, чтобы улучшить его стихотворную форму, я не могу скрыть от себя, что оно вряд-ли может иметь успех на сцене. Принципы в нем выраженные, не могли бы, пожалуй, быть провозглашенными публично, с эстрады. Роялисты и республиканцы остались бы одинаково недовольны ими, а холодность и невероятность третьего действия, а также пятого, повредили бы несомненно успеху пьесы. Но эти недостатки бросились мне в глаза лишь после окончания моей пьесы, и я убедился слишком поздно, что я считаюсь больше со своим вкусом, нежели со своими силами“ и т. д.

Такое признание свидетельствует, конечно, о большой скромности и искренности автора, но нисколько не умаляет бездарности его произведения. Ланжерон задумал вывести в нем историческое лицо — вождя народного бунта в Неаполе в 1647 году рыбака Томазо Аниелло, по кличке „Мазаниелло“. Воспользовался он для этого, что видно из приложенных к пьесе „Notices“, историческим романом немецкого писателя Августа Готлиба Мейсснера (1753 — 1807) на тему о Мазаниелло, но вместо того, чтобы придерживаться, как это сделал Мейсснер, исторической правды хотя бы приблизительно, Ланжерон совершенно исказил как подлинную личность Мазаниелло, так и всю сущность неаполитанской революции. Из рыбака, родившегося в Амальфи, и таким же рыбаком ставшего во главе лаццарони, автор трагедии сделал его приемышем Кастильского адмирала, воспитавшего его у себя при дворе в Неаполе и в Мадриде. Набогатевший приемыш покидает своего благодетеля и отправляется в Капую, где наедине, в каком-то монастыре, долго подговливается к искусству быть заговорщиком. Неаполитанский народ он поднимает не на бунт против владычества испанцев, а из своего личного честолюбия и ради того, чтобы самому сделаться королем... Вся эта основная чепуха имеет еще

много нелепых деталей, вроде введения в действие по подавлении бунта выдуманного немецкого герцога Вальбурга и других quasi-исторических лиц. Сюжет разработан, даже как вымысел, до нельзя слабо (в чем признается, впрочем, и сам автор).

Трагедия написана по всем правилам французского классицизма. Она в стихах и в пяти действиях, но ради соблюдения единства времени и действия Ланжерон втиснул все недели неаполитанской революции в один день, отчего историческая несуразность еще усугубилась. Но относительно самых стихов трагедии нельзя не признать, что в некоторых местах они звучат довольно сильно. Чрезвычайно ярка и зажигательна речь Мазаниелло в сцене после обезоружения народом испанского правителя Аркоса. Честолюбец, возмущивший народ только ради своих личных целей, Мазаниелло призывает, однако, пролетариев „отобрать у тираннов все их достояние и богатства и положить вооруженными руками основание справедливости, равенства и свободы“ и заканчивает свою пламенную речь воззванием:

„Détruisez les palais, respectez les chaumières!...“

В другом месте Ланжерон влагает в уста второго героя своей пьесы, чистого и не честолюбивого революционера Перонэ, еще такие слова:

„Verrai-je enfin des rois détruire la puissance?...“

и дальше:

„Quand le peuple le veut, il devient invincible...“

Несмотря на революционность некоторых моментов, трагедия сводится к прославлению законной власти. Она заканчивается убийством зарвавшегося в своем честолии Мазаниелло рукою искренне преданного народу Перонэ и самоубийством последнего, чтобы не отдаться живым в руки восторжествовавших испанцев. Мазаниелло перед смертью успевает покаяться „в своих преступлениях“, но не перед народом, а перед наместником короля.

Таково вкратце содержание той пьесы, печатный экземпляр которой, хранящийся ныне в Одесской Государственной Публичной Библиотеке, был, как мы полагаем, передан Ланжероном на прочтение Пушкину. Более обстоятельного разбора она, по нашему мнению, не заслуживает. Это несомненно юношеское произведение и, как сам автор это признает, это его первое драматическое сочинение. Свои примечания к пьесе, приводимые в конце напечатанной трагедии, Ланжерон относит к 1798 году. Когда же точно была писана им самим пьеса? Так как нам известно, что его комедия „Le duel supposé“ была издана в 1789 году, то „Мазаниелло“, как первое произведение, должно было быть сочинено раньше.

Немецкий роман Мейсснера „Мазаниелло“, из которого Ланжерон почерпнул сюжет для своей пьесы, был написан в 1784 году и переведен на французский язык в 1788 году. Весьма вероятно, что



Ланжерон тогда же или в начале 1789 г. написал свою трагедию, т. е. почти одновременно с комедией „Le duel supposé“. О том, что пьеса сочинена до разгара французской революции свидетельствует то, что хотя в ней и трактуется вопрос о революции, но без всякого намека на события 14 июля и последующей эпохи.

Имеющийся у нас в руках экземпляр напечатан в 1819 году, когда повидимому Ланжерон пожелал на досуге воскресить свое юношеское детство<sup>1</sup>).

В трагедии, Ланжерона выведены, как мы видим, два типа революционеров: один — Мазаниелло, честолюбец, обманывавший народ, и другой — честный революционер — Перонэ. Если верить рассказу „анонима“, что Ланжерон спросил Пушкина его мнения об обоих героях и будто поэт указал наугад на одного, как больше ему понравившегося, что вызвало восторг Ланжерона, то можно предположить, что Пушкин назвал имя республиканца Перонэ.

*А. Де-Рибас.*

---

<sup>1</sup>) Впоследствии текст Мейсснера обработан был в оперу Кардифа „Mazaniello“ (1827), о чем у нас писали в „Атенее“ 1828, ч. III, стр. 447. Мазаниелло был также героем „итальянской“ поэмы Барбье („Chiaja“), бывшей и в библиотеке Пушкина.

## Пушкин и актеры\*).

„Ни наших университетов, ни наших театров Пушкин не любил. Не ценил Каратыгина, ниже Мочалова. С Сосницким был хорош“, записал П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина<sup>1)</sup>. И новейший издатель этих записей в полном объеме подписывается под этим приговором в своем примечании к этому месту<sup>2)</sup>. Однако, как раз насчет близости Пушкина к Сосницкому биограф последнего<sup>3)</sup> пришел к обратному выводу: „Литературные данные не дают никакого строго определенного подтверждения на счет их взаимной близости“. Этот пример оправдывает необходимость более подробной проверки всего вопроса об отношении Пушкина к актерам, не затронутого его биографами в надлежащей полноте.

Георгий Чулков в заметке „Пушкин и театр“<sup>4)</sup> напомнил о тонкости теоретических статей Пушкина о драме и указал лишний раз на достоинства его собственных пьес. Это понимание драмы пришло к нему не из книг: в его библиотеке по теории драмы нашлась только знаменитая книга Шлегеля, знакомство с которой доказал еще Н. К. Козмин<sup>5)</sup>. Что именно Шлегеля Пушкин считал самым лучшим знатоком драмы, видно из того, что его имя он делает нарицательным для теоретика драмы: в письме от 7 янв. 1831 г.<sup>6)</sup> он пишет: „из русских Шлегелей один Катенин знает свое дело“ (№ 509), тот самый Катенин, переписка с которым дает ему повод к обмену самыми глубокими мыслями о драме и ее законах. И однако, переписка Пушкина показывает, как близко он стоял к актерам, как тонко умел подмечать законы их искусства и разбираться в манере и достоинствах игры лучших из них. На эту

\*) Доклад в Доме Ученых 29 ноября 1925 г. Автор очень рад совпадению его мнения со статьей Леонида Гроссмана: „Пушкин и Театр“. Новый Зритель 1926 г. № 7, 16 февраля.

<sup>1)</sup> Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Барте-невым. М. 1925 г. ред. М. Цявловского. Издание Сабашниковых, стр. 43.

<sup>2)</sup> Стр. 113.

<sup>3)</sup> С. Бертенсон. Еж. Имп. Т. 1914. № 3, стр. 18—21.

<sup>4)</sup> Голос Минувшего 1923. № 3, стр. 57—72.

<sup>5)</sup> Взгляд Пушкина на драму. Зап. Ист. Фил. Фак. СПб Университета LVII. 1900, стр. 207. Каталог Б. Модзалевского вполне подтвердил догадку Н. К. Козмина, что Пушкин пользовался французским переводом в издании 1814 г. См. № 1356.

<sup>6)</sup> Ср. „Критические заметки“ 1830—1831 г.: „Мы не имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни в Лагарпах“...

сторону Г. Чулков обратил слишком мало внимания и его изложение нуждается в некоторых дополнениях<sup>1)</sup>. Очень ценна запись того же П. И. Бартенева (стр. 26), что в Лицее ни Пушкин, ни Дельвиг не играли. Эта подробность приобретает особенное значение, если ее сравнить с тем, как любил Гоголь участвовать в школьных спектаклях и как это ему удавалось.

В письме к брату из Кишинева (4 сент. 1822 г. № 36) Пушкин пишет, что с нетерпением ожидает успеха „Орлеанской Девы“: „Но актеры, актеры! Пятистопные стихи без рифм требуют совершенно новой декламации. Слышу отсюда драммо-торжественный рев Глухо-рева. Трагедия будет сыграна тоном смерти Роллы. Что сделает великолепная Семенова, окруженная так, как она окружена. Господь защити и помилуй“. Много ли было ценителей среди тогдашних театралов, кто бы так верно чувствовал необходимость особой манеры декламации в зависимости от особой метрической формы, и, что еще более редко было в среде тогдашних знатоков сцены,—необходимости сценического ансамбля. Через 14 лет после этого письма, Гоголю пришлось подымать свой одинокий голос в защиту ансамбля в своих „Заметках о Петербургской сцене“. Не только ради каламбура в чисто Аристофановском духе из всех окружавших Семенову актеров Пушкин выбирает Глухарева: все, что известно про этого артиста, занимавшего с 1 янв. 1804 г. амплу наперсников<sup>2)</sup>, вполне оправдывает тревогу Пушкина за судьбу стихов Жуковского в его устах. Теперь со слов того же П. И. Бартенева<sup>3)</sup> мы получили чрезвычайно ценное известие, что Пушкин собирался сперва перевести Шекспировскую „Меру за меру“, но оставив это намерение, и не надеясь, чтобы наши актеры, которыми он не был вообще доволен, умели разыграть ее, использовал сюжет этой пьесы для своего „Анджело“<sup>4)</sup>.

Вся разница между пьесой Пушкина и Шекспировским подлинником стало быть должна быть сведена к его сознательному желанию приспособить фабулу Шекспира к средствам русских актеров, что и привело к обработке ее в стиле явно романтической драмы.

Мастерство Семеновой, увековеченное Пушкиным в знаменитых стихах „Евгения Онегина“ он особенно ясно оценил, когда в том же Кишиневе ему приходилось сравнивать с ее игрой жалкую игру немецкой кочевой труппы<sup>5)</sup>. И тоска по покинутой столице с ее театром (см. письмо от 27 сент. 1822 г. из Кишинева Гнедичу № 39: „мне брюхом хочется театра“) заставляет его в том же месяце заканчивать письмо из Кишинева И. Толстому вопросами про Сосницких, Ежову, Семеновых. Письмо кончается вопросом: „что весь театр?“

<sup>1)</sup> Едва ли можно доказать его утверждение, будто бы до 1820 года Пушкин постоянно бывал на первых представлениях (стр. 59).

<sup>2)</sup> П. Арапов. Летопись русского театра. Спб. 1861. Стр. 199.

<sup>3)</sup> Рассказы, стр. 47.

<sup>4)</sup> Н. И. Стороженко. Из области литературы. М. 1902 г., стр. 337

<sup>5)</sup> П. Бартенев. Пушкин в Южной России. М. 1914, стр. 60—61.

Как хорошо Пушкин знал актерскую среду, показывает между прочим его „программа комедии в стихах“, относящаяся к 1821 г.<sup>1)</sup> Не придумав еще имен и фамилий ее участникам, Пушкин называет персонажей фамилиями тех актеров, кому предназначил роли: Валберхова, Сосницкий, Брянский, Рамазанов. Этот прием ясно показывает, что свою пьесу Пушкин задумал в расчете на определенных исполнителей, воплощавших для него соответственное амплуа. Так писать мог только человек, очень близко знакомый с труппой. А еще в ранней молодости Пушкин сумел прекрасно изучить петербургских актеров и особенности их талантов, как это показывают его „Замечания о русском театре“ 1819 года.<sup>2)</sup> где Пушкин указывает свойства таланта Валберховой, Колосовой, Глухарева, Каменогорского, Толченова, Борецкого. Особенно любопытны тонкие его замечания о дикции Колосовой. В трагедии он первое место отводит по справедливости Семеновой, считая чисто внешним влияние на нее Жорж<sup>3)</sup>. „Почетным гражданином кулис“ был в годы юности не только его Онегин, но и сам Пушкин, наделивший, как известно, своего героя многими подробностями своей собственной жизни<sup>4)</sup>.

Близко узнать эту актерскую среду Пушкин мог не только через П. А. Катенина<sup>5)</sup>, а хотя бы в кругу своего ближайшего друга П. В. Нащокина<sup>6)</sup>. Павел Воинович свою близость к актерской среде распространил так далеко, что, по преданию, целый месяц прослужил горничной у Асенковой, выдавая себя за девушку, что и натолкнуло будто бы Пушкина на мысль написать свой „Домик в Коломне“. И Гоголь про своего Хлобуева, списанного будто бы с того же Нащокина, в 4 главе II части „Мертвых душ“ говорит, что у него, „в иной день ни крошки хлеба нельзя было достать, а в другой—хлебосольный прием всех артистов“. Сам Пушкин будто бы хотел изобразить Нащокина в своем романе „Русский Пелаг“. В опубликованном П. В. Анненковым<sup>7)</sup> плане этого романа должны были участвовать среди других представителей петербургского

<sup>1)</sup> Изд. Венгерова. Т. II. № 312, стр. 83.

<sup>2)</sup> Издано в „Книжках Недели“ 1895 г. дек., стр. 6—12; текст по рукописи Публичной Библиотеки исправлен П. О. Морозовым. Изд. Провещения. Т. XI, стр. 245—251.

<sup>3)</sup> Про Жорж он вспоминает лишь в одном из писем к жене (Т. VII 491, изд. П. Ефремова). Ясно, что с артисткой Жорж ничего общего не имеет та однофамилица, про которую Пушкин упоминает в письме к жене 3 авг. 1834 г., будто она спросила его при встрече на улице про здоровье жены (Ефремов, VII, стр. 571). П. Ефремов в своем указателе имен снабжает вопросительным знаком это место, допуская как бы возможность тождества этой Жорж с знаменитой актрисой, но ее тогда в России не было. П. О. Морозов и В. Каллаш в своих примечаниях обходят это имя.

<sup>4)</sup> Сиповский. Татьяна, Онегин и Ленский. Русск. Старина. 1899 г. № 6, стр. 569.

<sup>5)</sup> Оценка, данная Катенину в статье Н. К. Пиксанова „Пушкин и его современники“, XII. 1909 г., стр. 60—74, кажется, слишком пристрастна и непомерно строга.

<sup>6)</sup> М. Гершензон. „Русск. Мысль“. 1904 г. № 4, стр. 102—124.

<sup>7)</sup> Литературные проекты Пушкина „Вестн. Евр.“ 1881. № 7, стр. 36.

общества 20-х годов, Шаховской, Ежова, Истомина. Истому Пелам утешает в женитьбе Zav.<sup>1)</sup> (петербургского шеголя З\*)<sup>2)</sup>. Возможно, что Истомина одно лицо с „танцовщицей“, упоминаемой в другой части плана: „связь с танцоркой на щет гр. З.“<sup>3)</sup>..

Нужно ли говорить о том, как обогатилась бы история нашего театра, если бы Пушкин написал этот роман и в нем, с присущим ему мастерством, увековечил хорошо ему знакомые характеры Истоминой, Шаховского, Ежовой?

Непонятно, почему Анненков, настаивает на мысли, будто бы под буквами З, Zav. или Э. Ор., которого Пелам встречает в обществе актрис, не надо искать никаких определенных личностей<sup>4)</sup>. Эти буквы будто бы только памятные знаки для создания вполне независимых и свободных типов<sup>5)</sup>. Наоборот, точное обозначение имен Истоминой, Шаховского, Ежовой говорили в пользу как раз обратного вывода. Гр. З — Zav. вернее всего гр. Завадовский. (Э. Ор.—Орлов<sup>2)</sup>). Слова Анненкова „писатель, заслуживающий это название, никогда не имеет дела целиком с частным лицом или подробностями его жизни“ едва ли убедительны: они опровергаются прежде всего отношением этого романа к П. В. Нащокину.

Сам Пушкин рано оценил по достоинству пустоту театралов, густым роем кружившихся тогда вокруг театра не ради искусства, а только ради возможности блеснуть перед знакомыми своей близостью к актерской среде, как он подчеркивает уже в 1819 году в начале своих „Замечаний о русском театре“.

Отражение этих театральных нравов находилось в 1-й редакции стихотворения кн. А. М. Горчакову, где в стихе „на грудях Эллены спит“ первоначально вместо „Эллены“, стояло имя сожительницы Шаховского, Ежовой<sup>6)</sup>. Вечер, проведенный на чердаке у Шаховского<sup>7)</sup> вместе с П. А. Катениным, Пушкин еще в 1825 году называет в письме к последнему из Михайловского „одним из лучших вечеров своей жизни“ (№ 205). И характер этого вечера можно представить хотя бы потому, что тут же Пушкин вспоминает про старые проказы с театральным майором.

Через того же Катенина в письме от 11 мая 1826 г., передает Пушкину из Петербурга „пропасть хороших вещей“ актриса А. М. Колосова (№ 254)<sup>8)</sup>, вдохновившая Пушкина (см. письмо к тому же Катенину февр. 1826 г. № 236) на известную эпиграмму<sup>9)</sup>.

<sup>1)</sup> Стр. 43.

<sup>2)</sup> Стр. 39.

<sup>3)</sup> Стр. 36.

<sup>4)</sup> Стр. 35. Ср. С. Поварнин. „Русский Пелам“ Пушкина. Памяти Пушкина. Сборник СПб. Унив. 1899, стр. 329—350.

<sup>5)</sup> Стр. 38.

<sup>6)</sup> П. О. Морозов. Т. I, стр. 437.

<sup>7)</sup> Об отношении к нему Пушкина. В. А. Розов. „Киевск. Унив. Изв.“ 1906. № 6, стр. 76—81.

<sup>8)</sup> Ср. о ней письмо А. С. Пушкину. № 109.

<sup>9)</sup> Из письма Катенина 6 июня 1826 г. (№ 260) видно, что Пушкин ей предназначал роль Марины, на что умная артистка охотно соглашалась.

Позже сношения с Катениным Пушкин поддерживает через знаменитого трагика В. А. Каратыгина (см. письмо № 907 от 16 мая 1835 г., № 915 от 7 июля 1835 г.). Его успехам Пушкин искренно радуется в том письме к Катенину 4 декабря 1825 г. из Михайловского, которое кончается просьбой помянуть его во время первого представления „Андромахи“ (№ 222).

Высоко ценя талант Каратыгина, Пушкин в последние годы с особенной болью видел, как его жена все время проводит в гостях, между тем „в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных“ — писал он жене 3 янв. 1834 г. (№ 861), — которых, как показывает связь текста, он стало быть считал самым примечательным украшением столичной сцены. С Каратыгиным он вел и домашнее знакомство, проигрывая ему в карты, как это видно из письма кн. Вяземского (18 сент. 1828 г. № 369). В виде внешнего памятника этой близости великого трагика к Пушкину в библиотеке последнего уцелела переведенная В. А. с французского комедия „Двое за четырех или ревность и шутка“, впервые поставленная 31 января 1827 г. в пользу жены Каратыгина, актрисы Колосовой<sup>1)</sup>. Надпись на обороте обложки гласит: „Александр Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения от переводчика“.

В. И. Межов в своей *Ruschkiniana* собрал доказательства того, что Каратыгин и его брат П. А. сохранили любовь к Пушкину и после его смерти; первый в 1840 году в свой бенефис ставит „Моцарт и Сальери“, второй — в 1847 году „Каменного гостя“, а в 1849 году сцену из „Евгения Онегина“<sup>2)</sup>.

В делах пушкинской опеки сохранилось письмо опекуна гр. Строгонова от марта 1837 г. с согласием на постановку П. Каратыгиным в свой бенефис пушкинской „Русалки“, о чем просил опеку Жуковский<sup>3)</sup>.

За несколько дней до дуэли Каратыгин выбрал для своего бенефиса „Скупого Рыцаря“ и выпустил афишу, но после смерти своего друга, на отпевании которого он был, перенес бенефис на другой день и переменил пьесу из опасения „излишнего энтузиазма“<sup>4)</sup>.

Но эта близость с петербургским трагиком нисколько не помешала Пушкину высоко оценить актера совсем другой школы М. С. Щепкина, про встречу с которым он спешит сообщить жене в письме из Москвы 5 мая 1836 г. (№ 1011), а как глубоко захватила Пушкина своеобразная судьба этого артиста, видно из того, что он своей рукой начал первую страницу воспоминаний Щепкина, чтобы поощрить его к рассказу про свою богатую опытом и приключениями жизнь.

---

1) № 179 по каталогу Б. Л. Модзалевского.

2) Межов. № 4047, 4049.

3) Пушкин и его соврем. XIII. 1910, стр. 130—131.

4) Из письма А. И. Тургенева, изд. А. А. Фоминым Пушкин и его соврем. VI. 1908. 67—68.

Дружа с лучшими артистами своего времени, Пушкин по своей доброте<sup>1)</sup> не отказывал в своей помощи и мелким деятелям сцены. Так в июле 1830 г. он просит в шутильной записке стоявшего во главе московских театров Н. М. Загоскина принять на сцену брата актера Щепина (№ 462), очевидно нашедшего в Пушкине усердного посредника перед своим театральным начальством, а через несколько лет — Пушкин заводит с тем же Загоскиным переписку по поводу гастролей в Москве Александра Ваттемара (1834 г. №№ 852, 857).

Поддержка большим поэтом довольно сомнительного чревовещателя, каким был этот Ваттемар<sup>2)</sup>, могла быть вызвана теми самыми чувствами, которые доставили поддержку итальянцу — импровизатору со стороны того Чёрского из „Египетских ночей“, в изо-

---

<sup>1)</sup> „Доброжелательству“ поэта Н. Ф. Сумцов посвятил одну из глав своих исследований о Пушкине. 2-ое изд. Харьков. 1900, стр. 101—107.

<sup>2)</sup> Про этого Ваттемара М. П. Алексеев сделал следующую справку: „Александр Ваттемар (Vattemare) — знаменитый в свое время трансформатор, чревовещатель и мимик. В своих артистических турнэ по Европе А. Ваттемар приобрел широкую известность. Газеты и журналы 30-х г. г. помешали о нем пространные статьи и восторженные отзывы о его спектаклях. В „Berlin. Zeitung“ 1833 г. № 259 литератор Ралльштедт изложил биографию Ваттемара и уделил много места его знаменитому альбому, где находились „собственноручные письма, записки и подписи знаменитейших особ Европы“. Среди подписей и заметок встречаются имена Вальтер-Скотта (экс-прот его приведен также в „Северной Пчеле“ 1834 г. № 110), Томаса Мура, Гете, Гумбольдта, Тика, Бенжамена Констана и других, восхитавшихся его своеобразным дарованием. В России выступил он в 1834 г. (см. „Сев. Пчела“ 1834, № 129; здесь же в № 146 полностью приведена и упомянутая выше статья Ралльштедта). Поэт И. И. Козлов написал ему большое стихотворное послание: „Господину Александру“, впервые напечатанное в той же „Северной Пчеле“ (1834, № 171). Впоследствии, без указания на первопечатный текст, его опубликовал вновь по рукописи К. Я. Грот, ошибочно считая его обращенным к Пушкину („Изв. Отд. Р. яз. и Слов. И. Ак. Наук“ 1904, кн. 2, стр. 80). Ошибка была им исправлена лишь после того, как в одиннадцатой книге „Старины и Новизны“ (1906), были опубликованы дневники И. И. Козлова, где под 31 мая 1834 г. находится любопытное описание игры В., а под 16 мая сказано: „M-r Alexandre, l'artiste dramatique, homme intéressant, aimable et religieux, il m'a recité entre'autre les vers que W. S. (В.-Скотт) lui a adressés.“ (см. „Поправка к статье о поэте Козлове“ — Изв. Отд. Р. яз. и Слов. И. А. Н. 1906, кн. I, стр. 219). Пушкин писал жене (29 мая 1834 г.): „К нам в Пб. приехал Ventriloque, который смешил меня до слез, мне право жаль, что ты его не услышишь“. Сохранилось письмо Пушкина В-ру и его же письмо Загоскину о В-ре (Брокг.-Ефр. т. VI, стр. 131, 132). (Вероятно именно письмо Пушкина к Загоскину описано в книге „Lettres autographes composant la collection de M. Alfred Bovet, décrites par Etienne Charavay. Paris, 1885, p. 484, где однако, вероятно по ошибке, адресат Пушкина назван M. Logostine). В альбом Ваттемара Пушкин написал „Votre nom est Légion car vous êtes plusieurs“ (Бр.-Ефр. VI, 124; эта записочка впервые опубликована в „Русск. Худож. Газете“ Н. Кукольника 1837, I, стр. 233 в большой статье о В-ре, затем в заметке К. Н. Богушевского в „Рус. Стар.“ 1880, т. XXIX, стр. 221. Ср. „Столица и усадьба“ 1915, № 42). По указанию Козлова очень увлекался игрою В. и Жуковский. О репертуаре В. в России, с краткой характеристикой пьес, в которых он один играл 5—7 ролей см. еще — „Сев. Пч.“ 1835 № 219“.

бражении которого Пушкин, кажется, передал несколько своих собственных чувств и настроений.

Были случаи, когда наоборот, актеры обращались к друзьям Пушкина с просьбами хлопотать за них перед поэтом. Так, сохранилось письмо актрисы Синецкой, где она благодарит М. П. Погодина за его ходатайство перед Пушкиным, увенчавшееся успехом, на счет пьесы „Цыгане“<sup>1)</sup>). Речь идет, вероятно, о постановке переделки этой поэмы в бенефис артистки.

Эта близость Пушкина с театральными кругами в его творчестве оставила след не только его драмами. Известно, что он не гнушался и более мелкой работой для театра: по просьбе П. А. Катенина в 1826 г. он сочинил теперь разысканные куплеты для маленькой комедии, переведенной Н. И. Бахтиным<sup>2)</sup>). Свою „Русалку“ он задумал как оперу<sup>3)</sup>). Сохранился рассказ, как в гостях у Козлова он мечтал о лирической опере, в которой бы соединились все чудеса искусства хореографического, музыкального и декоративного<sup>4)</sup>). Кажется, однако, есть основание предполагать, что Пушкин сам приступал к обработке хореографического сюжета. В примечаниях к стихотворному отрывку:

В лесах Гаргарии<sup>5)</sup> счастливой  
За ланью быстрой и пугливой  
Стремится дикий Актэон

составители академического издания (1912. Т. III, стр. 108—109) приводят „программу Актэон“, начинающуюся словами: „Морфей влюблен в Диану. Его двор. Он усыпляет Эндимиона“ и т. д.; через несколько строк русского текста то же, но в сильно измененной редакции повторено по французски: Актэон „*un fat, après avoir séduit Thèone, Najade*“... Попали эти тексты в примечание потому, что издатели видят в них „приступ“ к этому стихотворению, что нашло достаточное опровержение (см. Венгеровское изд. VI, стр. 196 № 1057): единственным, чисто внешним, основанием этой догадки служит только упоминание имени Актэона, но, что бы ни

<sup>1)</sup> Н. Барсуков. Жизнь и труды Погодина. XII. 1898, стр. 92.

<sup>2)</sup> А. А. Чебышев. Пушкин и его современники VI. 1908: К вопросу о куплетах Пушкина.

<sup>3)</sup> С. К. Булич. Пушкин о русск. музыке. Пушкин. Сборн СПб. Univ. 1900, стр. 52.

<sup>4)</sup> Там же.

<sup>5)</sup> А. И. Малейн. Что такое Гаргария (Пушкин и его совр. XXVIII. 1917, 99—101) ссылаясь на Овид. Мет. III, 156 и другие тексты приходит к выводу, что Пушкин здесь описался вместо правильной формы Гаргафия. Но дело не так просто. Сам Пушкин, или его французский источник мог, кроме того, эту форму спутать с Гаргаром Гомера (Ил. VIII, 47, XIV, 292 „Гаргар высокий“ Гнедича) или Gargara Вергилия (Georg. I, 103) и Овидия (а. а. I, 57). Стихи поэты пишут ведь не так, как мы наши статьи: со справками насчет каждого слова в книгах. А возможна и сознательная подмена ради той „звукписи“, с точки зрения которой Гаргария гораздо сильнее и звонче Гаргафии, и которая поэту дороже возможности шегольнуть знанием древней географии.



разуметь под довольно смутным обозначением „приступ“, стихотворение это по своему сильному, звучному началу ни в каком „приступе“, да и к тому же на французском языке не нуждается. Поэтому позволительно искать другой путь для выяснения причины возникновения этого двойного отрывка.

Самый подзаголовок: „программа“ и все построение обоих отрывков соблазняют видеть здесь незаконченный набросок балетной программы. Предание как раз об Актэоне уже древние брали содержанием для своих балетов<sup>1)</sup>). На русской сцене такого балета, кажется, не шло, но по своему характеру он очень был бы близок к тем „анакреонтическим“ балетам, которые сочиняли Дидло и Глушковский как раз в те годы, когда Пушкин дружил с Истоминой.

Предание о Диане и Эндимионе составляет содержание того анакреонтического дивертисмента „Les Amours de Diane“, который с 1868 г. на петербургской сцене вставлялся балетмейстером М. И. Петипа в 6 картину балета Сен-Жоржа и Петипа „Царь Кандавл“<sup>2)</sup>).

Сочинить эту программу Пушкин мог по долгу „почетного гражданина кулис“ без особого углубления в древних поэтов: источники про Морфея ничего подобного не знают. Среди наяд нет нимфы Теоны, нет даже и такого имени вообще, а есть Теонос, никакого отношения к этому преданию не имеющая. Мифы про Актэона и Эндимиона не связаны друг с другом<sup>3)</sup>). Все это говорит за то, что свой текст Пушкин составлял если не из головы, то по довольно мутному источнику, вернее всего XVIII века.

Но точности по части мифологии нельзя требовать от поэта, да и она вовсе и не нужна для балетной программы. Там допускается весьма легко и не такое еще обращение с древними мифами. Зато в наивысшей степени свойственное Пушкину чутье театральности сказалось здесь вполне, и в тех живых красках, которыми намечена декорационная среда, и дано как раз то соединение материала для массовых групп с мимическими сценами для солистов, какое как раз знатоки балета ищут в таких программах<sup>4)</sup>). Издатели относят эти оба отрывка если не к 1820, то 1822 г.<sup>5)</sup>). Тогда Пушкин как раз был частым гостем кулис и повторение той же темы еще по французски понятно, если Пушкин писал для балетмейстера-француза в роде Дидло.

С годами театр и его деятели перестали интересовать Пушкина: если в 1824 г. А. Н. Раевский пишет в Псковскую деревню, что Одесские актрисы, кроме Ризнича, никого не слушаются (№ 89), то в переписке последних лет подобных отголосков закулисной жизни уже больше не встречается. Но за то, благодаря этой бли-

<sup>1)</sup> Lucian, De Salt. 41. Varro. Sat. Men. 513.

<sup>2)</sup> А. А. Плещеев. Наш балет. 2-ое изд. 1899 г., стр. 349.

<sup>3)</sup> См. соответственные статьи в энциклопедии Паули-Виссова (Tümpel) и Denkmäler Baumeistersa.

<sup>4)</sup> А. А. Плещеев. Наш балет. Стр. 413.

<sup>5)</sup> Акад. изд. III, стр. 109.

зости к актерам Пушкин навсегда остался знатоком сцены и Гоголь обнаружил большой ум и глубокое понимание своих друзей, когда именно Пушкину 25 мая 1836 г. направил после представления „Ревизора“ свое громадное письмо (№ 1021) в шесть печатных страниц: никто лучше Пушкина из литераторов того времени не оценил бы глубины содержащихся в этом письме замечаний об игре актеров.

Эта устанавливаемая перепиской Пушкина близость его к театру и актерам показывает ту жизненную почву, на которой создавались его поэтические работы не только в роде эпиграмм к молодой актрисе, к Колосовой, к Сосницкой и т. п., но и знаменитые строфы из 1-ой главы „Евгения Онегина“, являющиеся бесценными страницами живой летописи русского театра. В строфе 18-20, например, из балета названы Дидло и Истомина, а 30 января 1823 г. Пушкин просит из Кишинева брата Льва: „пиши о Дидло, о черкешенке Истоминой, за которой я когда то волочился, подобно Кавказскому Пленнику“ (№ 47), а 15 января того же года, в бенефис танцовщика Огюста, Дидло поставил на пушкинской сюжет „Кавказский Пленник или тень невесты“ с Истоминой в роли черкешенки<sup>1)</sup>. Стало быть не случайно именно эти артисты и в таком же порядке упомянуты в строфах поэмы.

Кружок театралов в двадцатые годы был очень многочисленен<sup>2)</sup> и по крайней мере до отъезда на юг Пушкин проделал все, что полагалось любому члену этого кружка. Но дея с ними проказы, увлечения и театральные знакомства, Пушкин всех их бесконечно превосходил прежде всего самостоятельностью оценки и суждений на счет всего, что делалось тогда в театре. В отличие от слепых поклонников родных талантов Пушкин смело пишет в 1826 году Вяземскому: „У нас нет театра“ (№ 48). Если бы прав был Б. Эйхенбаум в своем утверждении, что „Пушкин завершитель, а не начинатель“<sup>3)</sup>, он никогда бы не увидел недостатков хотя бы Озерова. Эта редкая трезвость суждений Пушкина-критика выразилась не столько в его теоретических статьях, сколько опять в той же переписке. Для примера достаточно напомнить его письмо из Москвы к Н. Н. Раевскому в апреле 1827 г. (№ 312, с остроумнейшими замечаниями о манере французских драматургов (ср. № 374 или письмо 1824 г. Л. С. Пушкину о „Федре“ Лобанова и о Расине № 65). Такую же зоркость обнаруживает он в правильной оценке большого драматургического таланта Н. И. Хмельницкого (№ 149)<sup>4)</sup>, которого в письме 6 марта 1831 г., он не обинуясь, называет любимым своим поэтом (№ 528), расходясь здесь со своим другом Плетневым (см. его письмо № 126).

<sup>1)</sup> П. Арапов, стр. 336. А. А. Плещеев. Наш балет. СПб. 1890 г., стр. 75. В Москве этот балет был поставлен 4 окт. 1827 г. см. Ежег. Импер. Театров 1900 — 1901 г. № 2, стр. 97.

<sup>2)</sup> М о я „История Русск. театра. 2-ое изд., стр. 304 сл.

<sup>3)</sup> Проблемы поэтики Пушкина — „Сквозь литературу“. Ленинград, 1924, стр. 158.

<sup>4)</sup> Из письма № 32 узнаем, что Хмельницкий читал Пушкину свои пьесы.

В итоге мне кажется, что запись П. И. Бартенева про нелюбовь Пушкина к актерам должна быть ограничена только годами его зрелых вкусов. Этим объясняется и то, что в „Дневнике“ Пушкина, сохранившемся как раз от последних лет его жизни, и подробно отражающем всякие мелочи придворной и светской жизни, нет записей про театр и актеров. Так же, как Пушкин, с годами остыл к театру и Карамзин<sup>1)</sup>, зато в молодости и он заплатил общую дань духу времени, что доказывается помимо его эпиграмм на молодых актрис, приведенными здесь выдержками его писем. Та же самая переписка приводит на меня совсем другое впечатление, чем на М. А. Цявловского (стр. 113) на счет отношений Пушкина к Каратыгину. Они были и близки друг к другу и Пушкин высоко его ценил, точно так же, как и Семенову. Про Мочалова это действительно сказать нельзя. Но прежде всего надо иметь в виду, что и иные из записных театралов стояли также далеко от Мочалова. Так С. П. Жихарев, проживши 11 лет в Москве, по собственному признанию, ни разу не видал на сцене Мочалова<sup>2)</sup>. Сверх того, эта разница в отношениях Пушкина к Каратыгину и Мочалову опять таки чрезвычайно показательна. Теперь мы знаем, как благоговейно смотрел Пушкин на свое дело, представляя всеми сторонами своей души „воплощение жизни“, поэтическое „да“<sup>3)</sup>, всю жизнь учась, не покладая рук усвершенствуя свое мастерство<sup>4)</sup>. И Каратыгин всего себя отдавал своему искусству, представляя собой воплощение добросовестности. Мочалов гениальный, но беспорядочный, неровный, нерадивый—был гораздо более чужд Пушкину.

Если припомнить отзывы вдумчивых и понимавших дело театралов, например, А. Стаховича про разницу в игре Каратыгина и Мочалова<sup>5)</sup>, станет ясно, почему московский трагик остался чуждым Пушкину. Это подтверждается косвенно свидетельством М. П. Погодина в послесловии к трагедии „Петр I“, посвященной памяти Пушкина и отданной автором ему на суд. Погодин признается, что Пушкин не одобрял ее 4 действия, говоря „это в роде Коцебу“<sup>6)</sup>. Наоборот, для того, отчасти, чтобы дать полный простор таланту Мочалова, Николай Полевой совершенно исказил в своей переделке, а не переводе, шекспировского Гамлета, совершенно его переродивши в духе мелодрамы<sup>7)</sup>. Мочалова эта роль прославил, но Пушкину едва ли понравился бы он в такой роли.

*Б. Варнеке.*

---

<sup>1)</sup> В. Всеволодский-Гернгросс. Карамзин и театр. „Русск. Библ.“ 1916. № 8, стр. 38.

<sup>2)</sup> С. П. Жихарев. „Отеч. Записки.“ 1854 г. Ноябрь, стр. 51:

<sup>3)</sup> П. Н. Сакулин. В веках. „Литературные отклики“. М. 1923 г. № 7.

<sup>4)</sup> В. Брюсов. Пушкин — мастер. Пушкин. Сборн. под ред. Н. Пиксанова. М. 1924 г., стр. 97 — 114.

<sup>5)</sup> „Ключки воспоминаний“. „Русск. Старина“ 1896. № 4, стр. 39 — 66.

<sup>6)</sup> М. Погодин. Петр I. М. 1873, стр. 18.

<sup>7)</sup> П. Гнедич. Ежегодн. Имп. Театров. 1905-1906, прилож. Стр. 29.

## Пушкин и одесские альманахи.

### I.

Мысль об издании в Одессе журнала или альманаха бродила задолго до 1831 г. Успех столичных альманахов породил подражания и в печати провинциальной. У Пушкина, попавшего в Одессу, тоже было желание выпустить журнал или альманах, но только желание теоретическое: строгий реалист быстро учел все особенности обстановки. В первой половине июня 1824 г. Пушкин пишет кн. П. А. Вяземскому: „То, что ты говоришь на счет журнала давно уже бродит у меня в голове. Дело в том, что на Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он, а меценатство вышло из моды — никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи“<sup>1)</sup>. Есть еще одно препятствие — разбросанность друзей: „Сообщай из Москвы в Одессу замечание на какую-нибудь глупость Булгарина, отсылай его к Бирукову в Петербург и печатай потом через два месяца в *Revue des bevue*“. Эти мечты нужно было оставить, — создать свой журнал невозможно, а петербургские и московские в Одессу еще не доходили. Пушкин писал Дельвигу и Вяземскому, что журналов столичных не читает, их нет в Одессе, где живут по азиатски в городе европейском<sup>2)</sup>.

После отъезда Пушкина жизнь в этом отношении изменилась — через 3—4 года Одесса знала уже все столичные издания и внимательно следила за литературной борьбой.

К 1827-30 г. число столичных альманахов увеличивается. Журналы издавать трудно в силу условий цензурных, таланты есть, произведения уже готовы — выручает форма сборника: он удобен во всех отношениях.

Рост количества альманахов, их тираж и распространение в провинции, пребывание в Одессе лица, близкого московским литературным кружкам, выроставшие культурные запросы — вызвали к жизни в 1831 году собственный альманах.

С именем Михаила Петровича Розберга, хорошо известного тогдашней Одессе, связана история первых одесских альманахов.

<sup>1)</sup> Переписка, изд. Ак. Наук, I, стр. 115—116.

<sup>2)</sup> Письмо к Дельвигу от 16 Ноября 1823 г. *Ibid.*, стр. 86. Письмо кн. П. А. Вяземскому, *Ibid.*, стр. 82.

Немец по происхождению, воспитанник Московского Университета, окончивший его в 1825 году, он стал русским по культуре. Он вращался в кругу лиц, связанных между собой и дружеской близостью и общностью литературных интересов. Он был знаком с Веневитиновым, Одоевским, Шевыревым, Киреевским, лучшим же событием своей молодости сам считал знакомство с Пушкиным<sup>1)</sup>. В Одессу он привез избыток юных сил, образование, литературные интересы, жажду работы и, вероятно, славы, и стал здесь выразителем русской культуры своего времени. В Одессу он получил назначение в конце 1829 года чиновником особых поручений к Воронцову. Об его приезде, по его словам, уже заранее знала вся Одесса; ждали его с нетерпением и приняли во всех лучших домах, как нельзя лучше<sup>2)</sup>. Он познакомился со всеми, окружающими Воронцова. Здесь же Розберг познакомился и со своим будущим соредактором по альманаху П. Т. Морозовым. „Морозов малый умный, добрый, занимается преимущественно математикой и, несмотря на то, прославился любовью своею к м-ль Орлай, как в старину Петрарка любовью к Лауре“<sup>3)</sup>. И в другом месте: „В Морозове я нашел человека весьма умного, милого и кажется доброго“<sup>4)</sup>.

Очень скоро по приезде Розберг сошелся с попечителем Рихельевского лицея Н. Ф. Покровским, „человеком благонамеренным и просвещенным“, и в 1830 г. начал читать в лицее лекции по словесности и истории, сначала в качестве преподавателя, а потом получил и профессорскую кафедру<sup>5)</sup>. В том же году он начинает редактировать „Одесский Вестник“ (с 11-го номера).

Это была не литературная, а чисто газетная работа. Писать приходилось и об убийстве в Балте, и о случившемся в здешнем карантине, и о балах, общественных собраниях. Литературная же работа Розберга видна на „Литературных Листках“, выходивших в 1833 — 34 гг., как прибавление к „Одесскому Вестнику“<sup>6)</sup>. Он привлек к работе ряд литераторов, сам же, главным образом, пользовался иностранными журналами и помещал почти в каждом номере переводы романов и специальных статей.

Его переводы отличались литературным языком, а статья Розберга „О содержании, форме и значении изящно-образовательных

---

<sup>1)</sup> С 1830 г. Р. был в родственных отношениях с Полевым, т. к. был женат на его племяннице М. В. Авдеевой. Ср. „Записки К. А. Полевого“. СПб. 1887, гл. IX.

<sup>2)</sup> Письмо к Розанову „Сборн. стар. бумаг, хранящ. в музее П. И. Щукина“, т. VII, стр. 344.

<sup>3)</sup> Письмо Р. к невесте. См. Н. Лернер. „Одесса в 1830 г.“ — „Одесск. Новости“, 1913 г. № 8958.

<sup>4)</sup> Письмо к Теплякову 10 ноября 1836 г. „Русск. Стар.“ 1896. IV, стр. 193.

<sup>5)</sup> По данным Архива б. Юрьевского Университета с 20 окт. 1830 г. — истории, а с 14 дек. 1831 г. — словесности. „Императ. Юрьевский, бывший Дерптский Унив. за 100 лет его существования“ (1802—1902). Ю. 1902.

<sup>6)</sup> Редактором „Одесск. Вестника“ Р. оставался до 1834 г. когда его сменил А. Г. Тройницкий.

искусств“ обратила на себя внимание как местных ценителей, так и столичной печати<sup>1)</sup>.

Вокруг него группировались и другие молодые переводчики, любители литературы<sup>2)</sup>, он побуждал к литературной деятельности и лицестов. Профессорская и издательская деятельность делали Розберга человеком популярным. Одесситы признавали за ним и самостоятельное литературное дарование. В задуманном альманахе нет повестей — „но почему же Розберг сам не напишет? Неужели издатели ничего своего не поместят? Это было бы оригинально“, пишет Левшин<sup>3)</sup>. В качестве литератора и газетного редактора Розберг следит за всем, что делается в Московских литературных кругах, получает все журналы, и тесно связан с шумным миром „святой Москвы“. Его занимает, что говорят о „Телеграфе“, где ругают Пушкина, о „Телескопе“<sup>4)</sup>, на чьей стороне общее мнение? Он спрашивает, что такое „Европеец“. Предвидя недостатки журнала Розберг все же думает, что по издателю он обещает много хорошего. В письме к невесте от 28-го марта 1830 г. он пишет: „Ты пишешь, что Пушкин в Москве. Что, бывает ли он у Н. А. (Полевого) и выдаются ли они?“<sup>5)</sup>. Из этих замечаний мы видим, что он посвящен в тайны журнального ремесла, разбирается во всем хорошо и ходит не ошупью по темному лабиринту журнальных сплетен<sup>6)</sup>.

Этого литературного человека Одесса помнила долго: „Молодое поколение еще до сих пор сохранило к нему благоговейную признательность“ — пишет автор статьи в одесском альманахе на 1840 г.<sup>7)</sup>. Именно Розбергу принадлежит осуществление давно задуманной, ставшей общей, идеи издания одесского альманаха. Дело издания этого альманаха шло медленно. Редакторов, еще не выпустивших альманах, уже бранили, и усиленно подчеркивали, что мысль об издании — общая: Одесса должна иметь свое издание.

---

<sup>1)</sup> Розбергом переведены отрывки из романов Бальзака, Дюма, Альфреда де-Виньи, а в отделе науки переводы статей Балланша — „О слове и языке вообще“ и „Теория слова“. Помимо „Литер. Листков“ он задумал и издание „Новороссийского обозрения“, но его нужно было отложить „за малым временем, остающимся до конца года и за недостатком в Одессе бумаги“.

<sup>2)</sup> Иваненко, Соколов, Стражков, Уткин.

<sup>3)</sup> Письмо Левшина к Теплякову — „Русская Старина“ 1896 г. IV, 192.

<sup>4)</sup> В 1830 г. „Телеграф“ „ругает без памяти Пушкина, Баратынского, Дельвига и Дмитриева“. Письмо Погодина к Шевыреву от 19 февр. 1830 г. „Русск. Арх. 1882 г. № 6.

<sup>5)</sup> В „Литер. Газете“ Дельвига был напечатан разбор „Истории Русского Народа“ Полевого, сделанный Пушкиным, что вызвало в „Московск. Телегр.“ резкую критику Полевого об „Евгении Онегине“, как слабом подражании Байрону.

<sup>6)</sup> „Подлец Булгарин пишет пасквили на Пушкина, которого за несколько недель превозносил до небес и 7-я глава Онегина, прежнего божества „Сев. Пчелы“ верно будет разругана“. Письмо Розберга к Н. И. Розанову — Сборн. старинн. бумаг, хранящ. в музее П. И. Щукина, т. VII, стр. 346.

<sup>7)</sup> „Литературн. летопись Одессы“. „Одесский Альманах на 1840 год“, стр. 36. Ср. В. Яковлев, „Печать в Новороссии“. „Юг“ 1882 г. № 1, стр. 59—65.

6-го марта 1831 г. Левшин пишет Теплякову, что „Одесса должна произвести альманах всенепременно, и если нынешние издатели откажутся, то мы с вами исполним сие намерение, которое, впрочем, принадлежит всем нам вообще“<sup>1)</sup>. Левшин удивляется издателям, столь равнодушным, столь вялым к своей репутации. Альманах вышел вскоре после этого письма, на нем цензурная пометка 17-го марта. К изданию Розберг привлек сотрудников по преимуществу столичных. Обратился он с письмом и к Пушкину.

Первое знакомство Розберга с Пушкиным относится к 1826 г. Розберг сам об этом говорит в хорошо известном месте своего письма к брату, написанном после посещения могилы поэта, села Тригорского и Михайловского в 1856 г.<sup>2)</sup> „Мысль улетела в минувшее: я вспомнил день, осенью 1826 г., в который я встретился с Пушкиным у Веневитинова, вечера наших общих, согретых огнем юности, пиров у Полевых, за Сухаревой башней; мне мерещилось гулянье под Новинским, где я видел, как толпы народа ходили за славным певцом Эльборуса и Бахчисарая, при восклицании с разных сторон: „укажите, укажите нам его“.

После двухлетнего пребывания в Михайловском, Пушкин приехал в Москву 8-го сентября, 10-го читал Бориса Годунова у Веневитинова, в октябре познакомился с Н. А. Полевым. 24-го октября был дружеский обед, на котором присутствовали многие, образовавшие потом редакцию новоосновываемого „Московского Вестника“. На этом обеде среди других был и Розберг, уже как знакомый Пушкина (знакомство с Пушкиным в это время было крупным событием для каждого, к нему приближавшегося и Погодин не напрасно отметил — „представление Оболенского Пушкину“<sup>3)</sup>). Розберг указан в числе присутствующих без всяких примечаний). Начало знакомства Розберга с Пушкиным падает на время между 10 сентября и 24 октября, и, очевидно, оно действительно произошло у Веневитинова, где Пушкин бывал очень часто и где всего чаще читал. Знакомство с Пушкиным в те дни, когда им занималась не только вся Москва, но и вся Россия, должно было оставить след глубокий. Так оно с Розбергом и произошло.

Знакомство не перешло в дружбу, не создало тесных отношений, но давало возможность и посещать поэта и писать ему. 8 мая 1830 г. М. П. Розберг писал В. Г. Теплякову из Москвы: „У Пушкина, который недавно возвратился из деревни кн. Вяземского, был я вчера. Он очень обрадовался, увидев меня, долго расспрашивал об Одессе, о вас, когда узнал, что мы знакомы и жили в одном доме“<sup>4)</sup>.

По поводу издания „Одесского Альманаха“ 5 декабря 1830 г. Розберг писал Пушкину: „В торговой Одессе, которая гораздо более

1) „Русск. Стар.“ 1896, IV, 192.

2) „Могила Пушкина в 1856 г.“ — „Истор. Вестн.“ 1899, V, стр. 751.

3) М. А. Цявловский — Пушкин по документам Погодинского архива, „Пушкин и его соврем.“ Вып. XIX — XX, стр. 80.

4) И. Бычков. В. Г. Тепляков „Истор. Вестн.“ 1887, кн. VII, стр. 19.

заботится о пшенице нежели о литературе, зреет мало-по-малу Литературный Альманах. Крестин ему еще не было, однако, думаю, что мы назовем его Евксинскими или Южными Цветами. Основание этого альманаха составят статьи в разных родах, имеющие посредственное или непосредственное отношение к Новороссийскому краю. Издан он будет в пользу здешней Публичной Библиотеки непременно к концу марта месяца“. Розберг просит Пушкина „освятить своими звуками страницы первого литературного издания, возникшего на берегах Черного моря, некогда питавшего вдохновенными мечтами душу любимого поэта русских“. „Отрывок из Онегина был бы тот блестящий парус, который и противный ветер обратил бы для нас в попутный“<sup>1)</sup>.

Не только деловое письмо пишет Розберг — есть в нем и характеристика одесской жизни и характеристика одесситов. Здесь сквозит желание быть остроумным, дать портрет знакомых лиц тому, кто сам был мастером портрета, а может быть и тайная мысль, — что это материал, которым сможет воспользоваться Пушкин. Здесь чувствуется явное желание быть интересным. Есть и совсем интимное место в письме — оно относится к году женитьбы Пушкина: Розберг, как русский, желает, чтобы этот период для поэта был бы столь же обилён поэтическими думами. Это письмо Розберга к Пушкину по поводу издания „Одесского Альманаха“ очень близко по содержанию и стилю письмам Розберга к Н. И. Розанову, невесте и к печатному письму, помещенному в альманахе.

В письме к Пушкину есть, правда, особенности, вызванные характером отношений автора к поэту. Близко-интимных отношений не было, но все, касающееся Пушкина Розбергу было очень хорошо известно и им учитывалось. Так, в Воронцове Розберг видит благородство, образование, считает, что зависть много потрудилась над составлением о нем мнения. „Образ жизни в Одессе мне нравится более московского образа жизни — здесь нет чопорности, нет местничества — отличительных черт белокаменной: здесь все как то ближе друг к другу“. Но это в письме к Розанову<sup>2)</sup>, где автор чувствует себя проще, свободнее. В письме же к Пушкину слегка иронический тон по отношению к одесской жизни и милорду — это вызвано, конечно, особенностями жизни Пушкина в Одессе, которые Розберг знал.

Стиль же писем очень однообразен, вплоть до того, что Одесса в разных письмах, почти в одинаковых выражениях, сравнена с турецкой шалью, а луна на юге названа золотой: именно на этом эпитете настаивает Розберг<sup>3)</sup>.

Нет ответа Пушкина на это письмо, нет в „Одесском Альманахе на 1831 г.“ и ни одного его произведения. Имя же поэта и воспо-

<sup>1)</sup> Переписка т. II, стр. 198.

<sup>2)</sup> Сборн. старин. бумаг. хранящ. в музее П. И. Щукина. Т. VII, стр. 345 или Русск. Арх. 1900, кн. VI, стр. 199 — 200.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 345. О письмах Розберга к Розанову ср. статью Н. Лернера из „одесской старины“ — „Ведомости Одесск. Градоначальства“ 1900 г. № 180.



минания о впечатлении от его произведений мы находим в письме из Одессы, помещенном в Альманахе за подписью Р. <sup>1)</sup>). Автор письма — М. П. Розберг. Первый том его жизни „со всем, что в нем было грустного, радостного, со всеми темными и светлыми мечтами молодости“ закрылся, когда он в 1829 г. получил в Москве назначение в Одессу к Воронцову и покинул столицу. „Выехав из Курска мне скорее хотелось достичь цели моего странствования, посмотреть на импровизированный город, взглянуть на море и т. д., но прежде должно было проехать Малороссию. Никогда не чувствовал я так живо, что люблю Россию, как в эти немногие часы, проведенные мною на долинах Полтавы: мысли неслись живее, неслись одна за другой, сердце билось сильнее: мне приходили на память отрывки из поэмы Пушкина. Что за разность читать эту поэму, например, в Москве, в покойном кабинете, или под балдахином ночного неба, при свисте ветра, на самом месте, где совершалось исполинское событие. Сюда бы я призвал заносчивых критиков, здесь бы желал опровергнуть их“. Это написано под свежим впечатлением той журнальной горячки, которая в 1830 г. возникла вокруг „Полтавы“ Пушкина. Автор письма из Одессы испытал на себе всю силу обаяния этого произведения на месте действия и, если раньше был почитателем поэта, теперь становится его пламенным поклонником. Далее идет описание нового для него города: „Если хотите, чтобы Одесса сделала на вас с первого взгляда приятное впечатление — не приезжайте сюда ни осенью, ни весной, и выберите погоду тихую: в противном случае Одесса покажется вам омутом грязи и пыли. Пушкин уже давно воспел одесскую грязь прекрасными стихами; этот предмет здесь еще до сих пор неистощим“. Обращает внимание Розберг и на утомительное однообразие лиц, мало развитый дух общительности, на внешнюю образованность и утонченность вкуса высшего одесского круга.

Письмо в достаточной мере характеризует автора. Он человек литературный, тесно связанный с этой стороной жизни московской, и еще только наблюдатель в чужом городе. Стиль письма — литературная проза того времени, тем более интересная, что она ничем не отличается от писанных частных писем автора.

В Одессе М. П. Розберг оставался до 1835 г. Он был избран профессором по кафедре русского языка и литературы в Дерптский Университет, куда и переехал <sup>2)</sup>). Начало жизненного пути Розберга было озарено живою личностью Пушкина, конец — согрет близостью мест, где жил поэт. От Дерпта так недалеко Михайловское и Тригорское.

Между этими местами всегда были отношения тесные. Дерпт наиболее близкий культурный центр к Михайловскому. Летом 1856 г.

<sup>1)</sup> Письмо из Одессы — „Одесск. Альманах на 1831 г.“, стр. 386.

<sup>2)</sup> М. П. Розберг занимал кафедру с 1836 — 1867 г. С 1849 г. он был членом Акад. Наук по II-му отд.; умер в 1874 г. См. „Импер. Юрьевск. Универс. за 100 лет его существования“. Юрьев, 1902 г.; Биографическ. словарь профессоров Юрьевского Университета, Юрьев, 1917 г.

Розберг ездил в Псковскую губернию в имение барона Сердобина. Посетил и Голубово, имение Вревских. Здесь был и А. Н. Вульф, здесь слышал Розберг от Вульфа и девиц Осиповых много любопытных и наглядных подробностей о Пушкине и Языкове, особенно о первом<sup>1)</sup>.

С магистром Дерптского Университета Солнцевым Розберг посетил Святогорский монастырь, „закрывающий в ограде своей прах одного из самых вдохновенных певцов XIX века“. Это было 21 июля. Ночью, часу в двенадцатом Розберг бродил вокруг обители, „чернели исполинские ели и в их непроницаемой тени белелся, словно бледный призрак былого,obelisk, воздвигнутый над могилой творца Онегина и Полтавы“. Это была не научная экскурсия профессора, а человека, хорошо чувствовавшего поэзию Пушкина, хорошо ее знавшего и привыкшего ею пользоваться. „Сколько чувств стеснилось в моем сердце! Мне приходило на мысль много печальных стихов, звуков заветных, незабвенных, звеневших и вздыхавших на струнах арфы и лиры под рукою Пушкина... И жуть пробралась в сердце — в забытом уголке России лежит тот, кем она гордится, как самым громким, самым сладкозвучным и многозначущим словом, произнесенным ею в текущем столетии“<sup>2)</sup>.

Так через всю жизнь пронес образ незабвенного поэта „с мужественным умом и нежным сердцем, создавшим столько неуязвимо-прекрасного“ человек, вышедший из литературных московских кругов первой четверти 19-го века. На нем была до конца дней печать особенностей эпохи его молодости — эпохи Пушкинской.

## II.

Следующий Одесский Альманах тоже связан с Пушкиным не его в нем участием. Официально альманах был издан Новороссийским Женским Благотворительным обществом Призрения Бедных в 1834 г. Первая его часть — на русском языке, а вторая „La Quêteuse“ — на французском. И этот альманах имел благотворительную цель. 1833 год был тяжелым для Одессы. Неурожай в Херсонской губ., голод в селах и городах, голодные дети и дети осиротевшие, увеличивающаяся смертность, особенно детская — вызвали необходимость организации общественной помощи. Создается дамский кружок с Е. К. Воронцовой в качестве председательницы и Р. С. Эдлинг — вице-председательницы. Дамский кружок<sup>3)</sup> устраивает спектакли, концерты, собирает пожертвования, организует больницы, открывает детский приют. Это были обычные формы благотворительности.

<sup>1)</sup> Письмо Розберга к брату. „Истор. Вестн.“ 1899, V, стр. 791.

<sup>2)</sup> „Истор. Вестн.“ 1899, V, стр. 75. Ср. статью Е. Шмурло „Маска и письмо Пушкина“... „Ученые Записки Юрьевск. Унив.“ 1899, № 5, стр. 53—57.

<sup>3)</sup> Его состав на 1834 г. следующий: Председ. Е. К. Воронцова, Члены Совета: Вице-предс. графиня Роксандра Скарлатовна Эдлинг, Ольга Станисл. Нарышкина, Анна Петровна Пуль, Мария Ильинишна Репницкая, Елисавета Васильевна Эмс, г-жа Кортаци, Над. Зах. Энгельгардт, Пульхерия Яковлевна

Несколько менее обычной была мысль собрать деньги для нужд общества путем издания литературного альманаха. Его заглавие — „Подарок Бедным“ вполне совпадает с названиями других организаций этого дамского кружка. Материал альманахов французского и русского — литературный<sup>1)</sup>). Имя издателя — дамский коллектив, имени редактора нет.

Целый ряд моментов показывает, что душой этого дела была одна из привлекательнейших женщин Одессы прежних времен — Роксандра Скарлатовна Эдлинг, урожденная Стурдза<sup>2)</sup>). В Одессу она приехала уже сложившимся человеком. Не русская по происхождению<sup>3)</sup>, она с 17-ти лет жила то в Петербурге, то в деревенском уединении в Белоруссии. Она рано узнала горе, рано поняла, что нужно самой делать свою жизнь. Когда ей еще не было 17-ти лет, она записывала свои мечтания, чтобы забыть после смерти сестры. Грустные воспоминания проходили потом перед нею во время блестящих балов. Фрейлина импер. Елисаветы Алексеевны — она хорошо знала жизнь придворную, знала внимание лиц высокопоставленных, и их охлаждение, ревность и злость других фрейлин. Она умела привлечь внимание словом, жестом, во время брошенным взглядом. В доме своего отца она видала князя Ипсиланти; была в переписке с другом своей семьи — граф. Каподистрия, была в общении с людьми выдающимися. Во всем, кроме вопросов религиозных, сходилась с Ксавье де Местром, мистические же настроения сблизили ее с баронессой Крюденер и Максом Штиллингом. Она видала войну 1812 года и вместе со двором была за границей. Но жизнь в высшем свете уже и тогда не давала удовлетворения.

В 1818 г. Рокс. Скарл. вышла замуж за гр. Эдлинга, министра иностранных дел и маршала при дворе герцога Веймарского. С ним она познакомилась во время пребывания двора за границей. Замужество оторвало от жизни петербургской. В 1819 г. гр. Эдлинг вышел в отставку, а с 1822 года Эдлинги поселились на юге России — они жили то в Одессе, то в Бессарабии в имении Манзырь, ими самими созданном<sup>4)</sup>). Это было любимое место отдыха графини. С Одессой семья Эдлинг была связана не только близостью их имени к южному „импровизированному“ городу, но и тем, что здесь поселился брат Роксандры Скарлатовны — Алекс. Скарл. Стурдза.

---

Сабанеева, Евген. Викент. Шемиот, Елис. Феод. Стурдза, Каролина Ивановна (?) Собанская, Люб. Ал. Хорват, Зоя Феод. Маразли, Анна Петровна Зонтаг, Секретарь Кол. Сов. Феодор Михайлович Гамалея. (Новоросс. календарь издаваемый П. М., Одесса, 1835 г., стр. 157).

<sup>1)</sup> Есть русские стихи Ростопчиной, Теплякова, Крыловой, урожденной Готовцевой, Шевырева, во франц. статьи барон Крюденер, Стурдзы и друг.

<sup>2)</sup> Род. 12 октября 1786 г. — умерла 16 января 1844 г.

<sup>3)</sup> Мать Рокс. Скарл. Эдлинг была гречанка, урожд. Мурузи, отец — молдавский господарь. Подробнее см. в ее записках — *L'histoire de mon enfance et de ma première jeunesse*. Русск. Арх. 1887. Т. I и III.

<sup>4)</sup> При раздаче земель в Бессарабии (1822 — 24) Александр I подарил графине Эдлинг 10.000 десятин земли — будущее имение Манзырь.

Имя графа Эдлинга мы встречаем среди организаторов Общества Сельского Хозяйства юга России<sup>1)</sup>, а гостиная его жены привлекала всех наиболее культурных людей города. Много видевшая, еще больше читавшая, наблюдательная, тонкой душевной организации умная женщина, с литературными вкусами и стремлениями, человек с жадной труды — она влекла к себе людей, искавших умственного общения. По четвергам у нее собирались к обеду вся семья и друзья. „Радушный прием и увлекательная ее беседа делали гостиную ее приютом всего образованного общества Одессы и всех замечательных лиц, временно посещавших наш город“<sup>2)</sup>.

Бывал и Пушкин у графини Эдлинг<sup>3)</sup>.

Особенно дружна она была в Одессе с Н. Ф. Нарышкиной, ур. Растопчиной, женщиной просвещенной, культурной. Обе они понимали чистую и живую прелесть беседы с человеком приятным. Между прочим Нарышкина обучала Эдлинг английскому языку и это было забавно для них обеих.

И в этих занятиях языками, и в литературной работе, и в жизни в деревне видно стремление уйти от условий светской бездеятельной жизни. Ею постоянно тяготилась Эдлинг. Она от нее уходила и к ней возвращалась, но пустота света казалась каждый раз все страшнее.

„Я возобновила все свои прежние связи, я не могу сказать ничего, кроме самого хорошего о бесконечно-милостивом отношении ко мне всей царской семьи, начиная с самого государя. И несмотря на это, я чувствую себя счастливой теперь, когда я в тени и решила не выходить из этого положения, чего бы это ни стоило“<sup>4)</sup>. „Жизнь в свете — безделье, выйти из него — удовольствие, достигаемое благодаря труду“<sup>5)</sup>.

Эту жадную работы гр. Эдлинг удовлетворяла тем, что ее участие в дамском благотворительном кружке было деятельным, ценным. А ее работа по альманаху принесла ей большие неприятности и небольшие радости, как настоящему редактору. Альманах — ее детище, ее настойчивостью движется дело. Она ищет сотрудников, знает, какой у авторов есть материал, следит за тем, принята ли работа в другой журнал, и можно ли ею воспользоваться для альманаха. Так, в феврале — марте 1834 г. она пишет Теплякову, что узнала о том, что в первых двух номерах „Телескопа“ нет его „Песни казака“. „Надеюсь, что вы нам ее дадите и прошу Вас принести мне ее, так же как „Старушку“ сегодня вечером, чтобы провести через огонь чистилища, т. е. цензуру, возможно скорее“<sup>6)</sup>.

---

1) „Записки“ Вигеля. Ч. VI, стр. 129.

2) „Дань памяти гр. Эдлинг“, Одесса, 1848; (Н. Мурзакевич), „Одесск. старина“ Од. 1869, стр. 22, 26; „Одесск. Вестник“ 1844, № 12. „Гр. Р. С. Эдлинг“. Некролог (А. Г. Тройницкий).

3) „Москвитянин“ 1851, кн. I. № 21, стр. 17 — 18.

4) Письмо к Теплякову от 1837 г. „Русск. Библ.“ 1916 г. № 5, стр. 26.

5) Там же.

6) „Песня казака“ и „Моя старушка“ В. Г. Теплякова напечатаны в альманахе, (стр. 175 и 180).

Наше русское издание выйдет непременно к маслянице, и это надо приписать моей настойчивости“<sup>1)</sup>. В следующем письме Эдлинг сообщает Теплякову, что его „Казак“ заслужил милость у цензора и она надеется, что благодаря ему альманах будет иметь успех. Личными отношениями гр. Эдлинг и баронессы Крюденер объясняется участие последней в альманахе, как автора занимательного произведения.

Все препятствия преодолела настойчивость женщины, очевидно, совершенно отдавшей делу. Альманах вышел в свет. Эдлинг следит с интересом за его судьбой. „Как нравится Вам статья Вяземского на альманах? пишет она одному из авторов — Теплякову; он как будто сговорился с барышней Штиглиц, которая отдавала пальму первенства Сафонову. Он же предпочитает Раstopчину и Норова. Я всему этому очень смеялась“<sup>2)</sup>. Как тонко, умело, несколько ядовито по отношению к критику, утешает редактор — сотрудника, женщина — друга в том, что не ему, а Раstopчиной отдал предпочтение Вяземский...

Так подробно пришлось остановиться на характеристике этой женщины и на роли ее в издании альманаха на 1834 г. потому, что издание и этого альманаха связано с письмом к Пушкину. Это известное письмо из Одессы, напечатанное в Акад. Изд. как письмо от неизвестной<sup>3)</sup>, а у Шляпкина за подписью Вибельман.

23-го декабря 1833 г. корреспондентка Пушкина просит извинения за то, что надоедает ему, но цель — чужое благополучие — служит ей оправданием. Бедствия, постигшие наш город, вызвали организацию общества помощи бедным. „Между прочим выдвинули мысль о литературной помощи: она осуществляется благодаря настойчивости в ее развитии и поддержке“. Лица влиятельные по своим собственным средствам или благодаря связям одобрили идею альманаха — любезно сообщает автор письма. Пушкину послана программа альманаха и имена сотрудников. У него во имя воспоминания о прежних отношениях просит корреспондентка поддержки и покровительства мощного таланта „нашей побирушке“<sup>4)</sup>. „Не сердитесь на меня слишком и ради моего дела простите мою настойчивость и мое обращение к прежним временам; воспоминание — богатство старости, а ваше имя дает большую ценность ее богатству“. В постскриптуме просьба переслать через Смирдина свои произведения на имя А. П. Зонтаг и сообщение о том, что розыски рукописи графа Ивана Потоцкого ни к чему не привели. „Вы можете представить, как я старалась спасти ее. В семействе ее нет, вероятно рукопись графа затерялась по небрежности, т. к. он скончался одинокий в деревне“.

1) Письмо это относится к 1834 г., как правильно предположил издатель его А. Тамамшев („Русск. Библ.“ 1916 № 5, стр. 20), но его можно датировать и точнее — февралем этого года, так как 4 марта 1834 г. начался пост.

2) „Русск. Стар.“ 1896 № 8, стр. 409.

3) Переписка, Акад. Изд. III, стр. 70 — 71.

4) Альманах сначала предполагали назвать „La Glaneuse“.

Подпись под этим письмом крайне неразборчива.

Печатая письмо А. И. Шляпкин высказал предположение — не была ли его автором сама гр. Е. К. Воронцова. Неразборчивую подпись он был склонен читать — Вибельман и видел здесь анаграмму „belvetrille“<sup>1)</sup>.

П. Е. Щеголев в рецензиях на книгу Шляпкина совершенно не согласен с таким предположением; он считает доказательство хотя заманчивым и смелым, но неубедительным<sup>2)</sup>. Произвольным, лишенным основания кажется и В. В. Сиповскому, в его отзыве о книге Шляпкина, желание видеть в авторе письма из Одессы — графиню Воронцову<sup>3)</sup>. И только П. А. Ефремов думает, что подпись может принадлежать Елене Вельтман, жене А. Ф. Вельтмана<sup>4)</sup>. П. А. Ефремов для убедительности прибавляет, что одно письмо зарегистрировано так в списках Жуковского и Дубельта, разбиравших бумаги поэта. Это тоже неосновательное предположение. Пушкин, правда, бывал у Вельтмана в Кишиневе, но Вельтман не жили в Одессе, а из списка дамского комитета видно, что Е. И. Вельтман и членом Новоросс. Общ. Призрения Бедных в 1834 г. не была.

М. П. Алексеевым было высказано предположение, что автор письма из Одессы — гр. Роксандра Скарлатовна Эдлинг. Знакомство с биографией Эдлинг и степенью ее участия в деле издания Альманаха логически приводит к сделанному выводу.

Письмо написано лицом не только близко стоящим к делу издания альманаха, но человеком безусловно в нем заинтересованным. У гр. Эдлинг, так много поработавшей над изданием альманаха, было основание называть это своим делом и именно это выражение употребила корреспондентка Пушкина. В письме к Теплякову Эдлинг говорит<sup>5)</sup>: „Наше русское издание выйдет непременно к маслянице и это надо приписать моей назойливости“, в письме же к Пушкину указано, что мысль осуществляется благодаря настойчивости в ее развитии. В заключительных строках письма — „Воспоминание — богатство старости“ Шляпкин заподозрил своеобразное кокетство Воронцовой, которой был 41 год. В устах Эдлинг это не кокетство, а очень задушевная мысль. В эти же годы она пишет Теплякову: „Приходит возраст, когда перестаешь быть общительной, когда исчезает потребность делиться своими впечатлениями и мыслями... Боишься не быть понятой, бессильною убедить и предпочитаешь сама с собой мечтать“<sup>6)</sup>. В другом письме та же мысль о надвигающейся старости, одиночестве: „В известном возрасте надо уметь обходиться без того, что называется обще-

---

1) А. И. Шляпкин. „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина“ СПб. 1903, стр. 185 — 189.

2) „Истор. Вестн.“ 1903 № 5, стр. 693—694 и „Изв. Отд. Русск. языка и Слов. Имп. Акад. Наук“ 1903 г., кн. 4, стр. 381 — 382.

3) „Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1903 № 6, стр. 449.

4) „Новое Время“ 1903, № 9851.

5) „Русск. Стар.“ 1896 № 8, стр. 409.

6) „Русск. Стар.“ 1896 № 8, стр. 419.

ством<sup>1)</sup>. Это мотив заключительных строк письма к Пушкину — идущая старость пугает женщину, она находит разную словесную форму для одинаковых настроений. В обращении корреспондентки к Пушкину видно желание быть узнанной по намекам, есть упоминания о прошлых годах и прежних встречах. Эти прошлые годы — годы одесской жизни, когда Пушкин бывал у графа. Эдлинг. Для нее Пушкин не светский знакомый — она в нем видит большого поэта, человека, вызывающего преклонение и естественное смущение у того, кто осмелился ему писать. Известие о его смерти надолго лишило ее покоя и свои письма к Теплякову в этот период, она, имея сообщить многое и многое, начинает с Пушкина<sup>2)</sup>. Она не может помириться с этой смертью, Пушкин был для нее явлением значительным, она следит за всеми слухами, циркулирующими по Петербургу в связи с дуэлью и смертью поэта. В ней говорит человек, понимавший и тогда исключительность утраты.

Отношение Эдлинг к Пушкину, ее литературное образование, отсутствие в Одессе другого лица, так заинтересованного в издании альманаха, наконец, совпадения выражений и мыслей этого письма и других писем Эдлинг, заставляют предполагать, что именно Р. С. Эдлинг была автором письма из Одессы. Здесь можно нам сделать одно серьезное возражение. Подлинник письма написан по-французски. Стиль языка — не светской женщины, фрейлины двора, переписывавшейся и с людьми своего круга и с людьми литературными. На ряду с фразами изящными, есть фразы ненужно усложненного построения, спорные в стилистическом отношении. Есть в письме и очень большое количество грамматических ошибок, — но, к сожалению, мы не видели подлинника. Может быть их можно отнести за счет издателя, а не автора.

В русском переводе, хорошо соответствующем французскому тексту, есть такие неудобные выражения, как „надоедало“, и другие тяжело построенные фразы.

Эти стилистические особенности письма не обращали на себя до сих пор внимания комментаторов. И если допустить, что эти соображения помешают признать автора в Эдлинг, то в равной степени так не могла писать ни Воронцова, ни другая светская женщина Пушкинского круга и времени. Логика вещей и история событий на стороне Эдлинг. Правда, подпись письма совершенно не похожа на обычную подпись Эдлинг. Приходится сделать предположение, что она нарочитая, может быть чувство скромности заставило спрятаться за вымышленным именем.

Помимо личности автора этого письма есть и еще один очень интригующий в нем момент — это упоминание о рукописи гр. Ивана Потоцкого „des trois perdus“. Корреспондентка Пушкина пользуется случаем, чтобы ему сказать, что ее попытки отыскать рукопись Потоцкого — напрасны. Очевидно, об этом была раньше речь в

1) Письмо к Теплякову 20 июня 1835 г. „Русск. Библ.“ 1916 г. № 5, стр. 23.

2) Письмо от 18 февр. 1837 г. „Русск. Стар.“ 1896, IV, стр. 415.

письме или при встрече. Это давнее обстоятельство (письмо относится к 1833 г., а гр. Иван Потоцкий умер в 1816 г.) теперь всплыло только при случае. Что у Пушкина мог быть интерес к рукописям Потоцкого — это вполне естественно. Граф Иван Потоцкий был автором романа „Manuscrit trouvé à Saragosse“, который сравнивали по живости изображения с Дон-Кихотом и Жиль-Блазом. „Здесь прекрасно описаны нравы испанцев, мусульман и сицилийцев, характеры очерчены верно — это одна из наиболее увлекательных книг, которая никогда не постареет“<sup>1)</sup>. Пушкин знал, очевидно, этот роман, знал повидимому и о том, что есть несколько его списков писанных, есть и отдельные рукописи графа, разбросанные по библиотекам польских богатых домов. Удовлетворить эту старую заинтересованность и пыталась корреспондентка<sup>2)</sup>.

1) M. Klaproth. Предисловие к книге Потоцкого „Voyage dans les steppes d'Astrakhan et du Caucase“, Paris, 1829 t. I, p. V—VI.

2) Целиком роман издан не был, первые его отрывки были напечатаны в Петербурге в 1804 г. Затем роман был разделен на два эпизода, изданных в Париже par M. Gide fils под заглавием: 1) „Avadogo, histoire espagnole“ par M. L. C. J. P. Paris, 1813 4 vol. in. 8; 2) „Dix journées de la vie d'Alphonse Van-Worden“. Paris, 1814 (подписано теми же буквами). Кроме отпечатанных эпизодов есть еще несколько рукописных списков; 5—6 из них осталось в России и Польше, а полный текст романа, отосланный в Париж для печатания, остался в руках лица, которое должно было прочесть его прежде, чем сдать в печать. Романы Потоцкого написаны на французском языке, на польский переведены Кайецким. Личность автора этих романов очень любопытна. Год рождения графа Ивана Потоцкого в биографиях указан разное: 1757 — в одних, 1761 — в других, год смерти тоже — 1815, 1816. Он потомок старой польской фамилии. Получил блестящее образование. Вместо обычной военной карьеры или дипломатической — он избрал то, к чему его влекло — путешествия и научную работу. Он занимался историей древней и историей своей родной страны, побывал в Италии, Испании, Сицилии, Марокко, Тунисе, Египте, Каире, Кавказе, Астраханских степях и т. д.

После последнего раздела Польши он становится русско-подданным. В 1805 г. он стал во главе научного отдела посольства, отправленного Александром I в Китай. Его знания и работоспособность делали его очень подходящим для этой цели, но посольство Головкина потерпело неудачу и в столицу империи не попало. Свои впечатления от путешествий он сопровождал научными изысканиями и печатал их всегда не более, чем в количестве 100 экземпляров. Его книги сейчас — библиографическая редкость. (Почти все научные сочинения гр. Потоцкого имеются в Одесской Госуд. Публичной Библиотеке). Поклонник свободы книгопечатания, он сталкивался не раз с польской администрацией и в результате учредил у себя вольную типографию, в которой и печатал многие из своих книг — у него до 24-х больших работ этнографического, исторического, географического, археологического характера.

Некоторые его работы вызвали и резко отрицательные отзывы — так его „Voyages dans les steppes d'Astrakhan et du Caucase“ было подвергнуто жестокой критике Шлецером. Уличив Потоцкого в невежестве в одних областях, он сам был уличен в других. Наибольшая научная заслуга Потоцкого — работы по славяноведению. Конец своей разнообразной жизни Потоцкий провел в своем имении Оладовке. Жизнь он покончил самоубийством в 1815 — 16 году — „потеря памяти, несчастья родины, невральгические страдания были тому причиной“, по словам его биографов.

О нем именно упоминается в адресованном Пушкину письме из Одессы, но не его дочери опекуном был Воронцов, как думает Шляпкин,—



Ответа Пушкина на это письмо нет, нет снова и его произведений в альманахе. Упоминание о том, что лица влиятельные оказывали этому делу поддержку, Пушкин мог понять правильно: Воронцов действительно способствовал изданию альманаха. Литературное процветание города тоже было к его чести и славе, а помогать этому даже через 10 лет после своей ссылки Пушкин не мог. Меценатство, вышедшее из моды, и покровительство вельможи претило Пушкину еще в 1823 году. Не отсюда ли его отсутствие, как автора, и в альманахе Розберга, и в альманахе Эдлинг?<sup>1)</sup>

Примечание А. И. Шляпкина к напечатанному письму из Одессы заканчивается такими словами: „Интересно и само общество, одно из первых обществ призрения бедных в России, интересны и его альманахи. Но ни имени Пушкина, ни его таинственной корреспонденки в числе авторов альманаха не встречаем“. Отсутствие Пушкина нам понятно. Имени Эдлинг, как автора произведения, действительно нет, но в Альманахе „La Quêteuse“ помещен отрывок „L’Hermite“ за подписью „Par une dame“. Трудно допустить, чтобы такой редактор, как Эдлинг не поместила никакой своей работы в альманахе. Писать она умела. Ее характеристики жизни петербургской и одесской в частных письмах очень метки, кратки и точны, все с примесью некоторой легкой ядовитости стороннего наблюдателя. Она автор мемуаров хорошо известных<sup>2)</sup>. И мемуары и частные письма Эдлинг писала на французском языке. В напечатанном в Альманахе отрывке „L’Hermite“ характеристика высшего света, его пустота и равнодушие, любовь к тихой деревенской жизни, где лучше отдых и ближе друг к другу люди, пустота внутреннего существования, мучения героя на почве атеизма, его разрыв с невестой из-за ее религиозности и его неверия, посланные ему за это испытания, попытка заглушить свое личное горе у героини работой в общине сестер милосердия, наконец, еще маленькая деталь — одно из действующих лиц — Зоя, имя мало тогда распространенное в обществе русском и так хорошо известное в греческом — заставляют предполагать, что живо, литературно написанный отрывок „L’Hermite“ принадлежит перу Эдлинг.

---

А. Булгаков в письме от 13 сентября 1832 г. (Русск. Архив 1902 г., т. I. кн. 2, стр. 306) пишет брату, что приехал в Москву Воронцов. Он едет дальше через Калугу. „В этой губернии имение маленькой Потоцкой, коей он опекуном“.

Об Иване Потоцком см. Michaud „Biographie Universelle ancienne et moderne“, 2-me éd. XXXIV, p. 196. Michel Klaproth, предисловие к книге Потоцкого — „Voyage dans les steppes d’Astrakhan et du Caucase“; J. Quéraud, La France Littéraire, t. VII, p. 295; Les Supércheries Littéraires t. II; F. Didot, Nouv. Biographie générale, t. 40, p. 900.

<sup>1)</sup> Альманах „Подарок бедным“ сохранился в библиотеке Пушкина и значится под № 451 по описи Б. Л. Модзалевского.

<sup>2)</sup> Мемуары Эдлинг начала писать в 1829 г. В них она отразила личность Александра I и общество, его окружавшее. Доведены мемуары до 1825 г.; появились они в Москве в 1887 г. с предисловием П. И. Бартенева; извлечения из них в переводе в том же году печатались в „Русском Архиве“.

Авторство Эдлинг помогает понять и еще одно обстоятельство. В статье „Литературная летопись Одессы“ в альманахе на 1840 г. между прочим речь идет о французских беллетристах, пишущих и печатающихся в Одессе: „Был даже опыт целого французского альманаха, говорит автор (1834 г.). Впрочем, если бы дозволено было поднять таинственную завесу анонима, то мы отдали бы и здесь почетнейшее место писательнице, которая пишет только по французски, душой же и мыслью вся принадлежит святой Руси“ (стр. 31). В обзоре русских авторов пальма первенства отдана Анне Петровне Зонтаг. Автор статьи говорит — душой и мыслью — не происхождением и языком. Графиня Эдлинг по рождению не была русской, а ею стала по культуре, пользовалась же всегда языком французским.

Что удерживало гр. Эдлинг от открытой работы, сказать трудно, но таинственная корреспондентка Пушкина, анонимный автор в альманахе и замаскированный редактор объединяются, по нашему предположению, в лице Р. С. Эдлинг. Время с 1830 по 1838 год было временем наибольшего напряжения душевных сил Эдлинг, а условия создали обстановку, когда и деятельность ее была необходима. В 1835 г. голод в Одессе прекратился, организованный приют, казалось, можно закрыть, детей предполагалось возвратить родителям. По городу были развешаны объявления, согласно которым родители должны были явиться за детьми; на площадях и улицах били в барабаны, но никто за детьми не пришел — это вызвало к жизни первый детский приют на 40 мальчиков и 45 девочек. С 1836 г. приют называется — „Дом призрения сирот“. Это было детище Эдлинг, которому она отдавала много забот, как и вообще делу широкой благотворительности.

Потом пошли личные горести — болезнь и смерть мужа, а там и собственные болезни, заставившие страдать тяжело.

На краю города, согласно завещанию, тогда в совершенно пустынной его части у берега моря, между несколькими соснами, в 1844 году появилась одинокая могила Р. С. Эдлинг.

### III.

Одесские альманахи на 1839 и 1840 г.г. После пятилетнего перерыва в Одессе снова издаются альманахи. Этот вид литературных сборников еще жил потому, что цензурные трудности при издании периодической печати отнюдь не уменьшались.

Пока в Одессе не было подходящего лица, заинтересованного в выходе в свет альманаха, Одесса обходилась без него. Но вот в середине 1838 г. сюда приехал Николай Иванович Надеждин. Издатель „Телескопа“ тяжело перенес ссылку в Уст-Сысольск и Вологду. Личные интимные переживания были тоже не радостны, здоровье расстроено.

Попечителем Одесского Учебного Округа был Д. М. Княжевич, приятель Надеждина. В Одессе была возможность жить иначе и

надежда с помощью Княжевича создать более благоприятную для себя обстановку. Переезд из Уст-Сысольска удалось осуществить. Литературные и издательские интересы Надеждина были действительно поддержаны Княжевичем и Воронцовым. Одесский Учебный Округ отпустил средства на издание альманаха, литературное же руководство принадлежало на этот раз Надеждину<sup>1)</sup>.

Для нас интерес альманахов — в статьях Надеждина.

В альманахе на 1839 г. помещена повесть исторического характера — „Русская Альгамбра“. Начинается она эпиграфом из „Бахчисарайского Фонтана“:

„Еще поныне дышит нега  
В пустых покоях и садах“.

В полубеллетристической форме здесь рассказана жизнь Бахчисарая в момент посещения его Надеждиным и история Бахчисарайского фонтана. Вид Бахчисарайского фонтана вызвал в памяти образы литературные; они оказались сильнее действительности — поэма Пушкина обновлялась в душе. „О великое могущество поэзии! Это тихое журчание лениво-каплющей струи как вдруг сделалось для вас красноречиво! Вам слышится в нем ропот знакомого голоса. Вокруг вас возникает рой чудных призраков. Безмолвная пустота населяется, оживает. Кто-то огненным дыханием коснулся вашей щеки. Это она! Это носится Зарема ревностью дыша средь опустелого харема“. И дальше все в таком же восторженном тоне.

Вот малая мечеть. „Вас преследуют и сюда те же образы.

Здесь место, над которым возвышается снаружи

Крестом осенена  
Магометанская луна.

Поэта изумил этот символ, конечно, дерзновенный. Ему виделась в нем

Незнанья жалкая вина.

Но он не истощил вполне предания, которое говорит, что эта мечеть, еще при жизни прекрасной заключительницы Керима по воле хана была обращена для нее в потаенную божницу. Итак, это памятник высочайшего торжества любви“... Это замечание Надеждина представляет некоторый интерес.

Восхищение Надеждина поэмой Пушкина в 1839 году так мало похоже на тот поход, который начал критик „Вестника Европы“ против поэта 10 лет тому назад. Отношение Надеждина к Пуш-

---

<sup>1)</sup> 24 июня 1839 г. Надеждин пишет Максимовичу, просит материалов для Альманаха на 1840 г. и прибавляет: „Издание это будет великолепно: граф Воронцов картинки заказывает в Лондоне“. Ср. статью В. В. Данилова а Н. И. Надеждин в Одессе—„Русск. Филологич, Вестн.“ 1911 № 2, стр. 349.

кину слишком хорошо известно, чтобы на этом останавливаться<sup>1)</sup>. Мы знаем и его статью в „Вестнике Европы“ о Полтаве, и жестокий разбор Бориса Годунова, и эпиграммы Пушкина на Надеждина. Смерть поэта сделала многих его противников пламенными поклонниками его поэзии.

Надеждин в Одессе уже не был профессионалом-критиком, прекратилась и специфическая журнальная полемика, колкая и злая перебранка. В Одессе Надеждин становится историком, одним из деятельных членов Одесского Общества Истории и Древностей, а позже в Петербурге — членом Импер. Геогр. Общества. Этот отход от литературной критики сделал более близкими произведения раньше отвергаемого поэта. Восторг Надеждин по отношению к Пушкину высказывает еще до появления статей Белинского в 1840 г., изменивших мнение многих.

27-го апреля 1839 г. Надеждин вместе с Княжевичем совершил прогулку по Бессарабии. Они выехали из Одессы на Аккерман через Овидиополь. Их маршрут — Измаил, Болград, Кишинев, Сороки и т. д. Впечатления от этой прогулки даны в статье Надеждина „Прогулка по Бессарабии“ („Одесский Альманах на 1840 г.“, стр. 308 и след.). В описании своем Надеждин останавливается на всех особенностях края — археологических, этнографических, исторических и бытовых. Всего интереснее для нас, образы, встающие перед Надеждиным и настроения, им пережитые.

Каждый географический пункт, где жил или бывал Пушкин, освящен воспоминанием о нем. И все ценит Надеждин — правду и творимую легенду, видя и в ней дань памяти поэта. Вот Аккерманская крепость. „Я обошел кругом крепость по стенам и по валу. Вид на лиман, особенно при заходе солнца, невыразимо очарователен. Мой чичероне, один из учителей уездного училища, указал мне прибрежную башню, на которой Пушкин провел будто однажды целую ночь, погруженный в созерцание; я этому очень верю. Прибавляют, что эта башня с тех пор называется „Овидиевой“. Не потому ли, что поэт здесь может быть вел свою вдохновенную беседу с тенью Овидия? В самом деле, воспоминания о римском изгнаннике так легко и естественно могло возбудиться городом, украшенным его именем, который отсюда виднеется на краю горизонта, сливающегося с лиманом, во всей своей пустынной красе. Во всяком случае приятно слушать это признательное предание, которое оживляет безмолвные груды камней, приковывает к ним светлый вдохновительный образ, хотя бы то было и лирической цепью“<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Ст. Н. К. Козмин. Н. И. Надеждин СПб. 1912, стр. 102—111.

<sup>2)</sup> Одесский Альманах на 1840 г., стр. 333. Ср. исторический комментарий к этому свидетельству Надеждина у А. И. Малейна — „Пушкин и его современники“ вып. XXIII—XXIV, стр. 60—61.

При описании Кишинева: „Кстати о ножках. Говорят, что очаровательные „ножки“, воспетые Пушкиным, еще движутся по роскошным коврам Кишиневской зелени. Кстати о Пушкине. Еще цел домик, в котором он жил во время пребывания своего в столице Бессарабии“.

Альманах на 1840 г. открывается статьей без подписи „Литературная летопись Одессы“. В ней характеристика культурной жизни города. Принадлежит эта статья к числу известных и в достаточной мере использованных материалов. Сделав обзор одесской литературной жизни с начала текущей четверти века, автор останавливается на Пушкине.

„Пушкин! На небосклоне Одессы Пушкин является

Как мимолетное видение.

Если Новая Россия может с справедливой гордостью сказать, что дивный гений, вечная гордость всей России ей обязан довершением, то и Одессе принадлежит неоспоримая доля<sup>1)</sup>. В этой статье интересно выделить одну деталь: стихотворение Пушкина „Талисман“, связывают обычно с Одессой и кольцом, подаренным гр. Воронцовой Пушкину. Автор же статьи очень настойчиво говорит о том, что стихотворение это связано с Крымом и хочет его понимать, как овладение силами творчества, а не талисманом-кольцом.

Вот то небольшое, что удалось найти в одесских альманахах о Пушкине. Пришлось больше говорить по поводу, таков самый материал. Но если первые одесские альманахи дают мало фактических указаний, то каждый из них тоже какой то лирической цепью связан с образом поэта.

Через 2 года после смерти Пушкина вышли последние разбираемые нами альманахи (1839—1840 г.). В них нет ничего о трагической гибели поэта. Частная переписка одесситов, людей близких Пушкину или только литературных, в эту эпоху полна сведений о нем, о дуэли, последних днях, смерти — об этом пишут раньше, чем о делах личных, семейных, а печать молчит. Известие о смерти в „Одесском Вестнике“ от 13 февраля 1837 г. (№ 13) появилось под таинственным словом — „сообщено“<sup>2)</sup>.

Уже давно на Одессу смотрели, как на мало русский и мало надежный город. Еще в марте — апреле 1824 г. П. Вяземский писал Пушкину: „Верные люди сказывали мне, что уже на Одессу

<sup>1)</sup> Белинский, давая отзыв об Одесском Альманахе 1840 г. отмечает, что литерат. летопись интересна по живому воспоминанию о влиянии Новороссийского края на поэзию Пушкина. Белинский, Собр. сочин. Изд. Венгерова, V, стр. 225—26 или Отеч. Записки 1840. т. IX, стр. 9—14.

<sup>2)</sup> Автор этого сообщения А. Г. Тройницкий. Обе редакции статьи — русская и французская вместе с заметкой Н. Г. Тройницкого (брата предыдущего) об обстоятельствах их напечатания, перепечатаны в сборнике В. Яковлева „Отзывы о Пушкине“ Одесса, 1887, стр. 3—13. Для сравнения интересно было бы выяснить, когда и в какой форме в существовавшей провинциальной печати появилось известие о смерти Пушкина.

смотрят, как на *champ d'asyle*, а в этом поле, верно, никакая ягодка более тебя не обращает внимания“<sup>1)</sup>).

Часто поэты за восхваление южного города подвергались упрекам, знали немилость. Туманский и Бенедиктов, например, воспевшие юг, писали потом покаянные стихи и песнопения в честь севера.

Пушкин для наших правителей был изгнанником на юге, и о нем, даже о мертвом, лучше было молчать. Тем более, что о его смерти уже были сказания — „Так нужно было кому-то вверху стоящему“. Молчали поэтому и альманахи.

Вместо писания в то время растет устная одесская легенда о Пушкине. Она окутала имя поэта и жива до сих пор.

### *З. Бориневич-Бабайцева.*

Одесса, 25-III-1926 г.

---

<sup>1)</sup> Переписка. Акад. Изд. т. I, стр. 104.

## К „Истории села Горюхина“.

Среди недоверенных замыслов Пушкина одинокое и обособленное место занимают отрывки и планы его „Истории села Горюхина“. Фрагментарный характер произведения, фикция простодушного провинциального летописца, от лица которого ведется рассказ, искусно выдержанный до конца в одном стилистическом плане маскировка, ни на минуту не прерывающая своей плоскости пародии или памфлета и ни одной чертой не выдающая намерения и цели настоящего автора,— все это делает „Историю“ несколько загадочной и отрывает заманчивые возможности для догадок и сопоставлений. Между тем среди других прозаических опытов Пушкина она со времен Белинского пользовалась сравнительно малым вниманием и многие вопросы ее творческой истории не могут считаться окончательно разрешенными. Иные равнодушно проходили мимо ее незаконченных страниц, не пытаясь проникнуть в глубину недовершенного замысла, другие больше заинтересованы были раскрытием объекта пародии, чем ею самой. Очень естественно поэтому, что до последнего времени мы имели самые неудовлетворительные издания ее текста и совершенно произвольную планировку ее частей.

„История села Горюхина“, как известно, появилась в печати вскоре после смерти Пушкина („Современник“ 1837 т. VII, стр. 197—225), с пропусками и изменениями, которые понадобилось сделать в целях цензурных и иных. Для восстановления намеренно или по небрежности опущенных мест понадобился очень значительный срок. Рукописи „Истории“ были в руках у П. В. Анненкова, сверившего с ними первопечатный текст (т. IV, стр. 110—127); эта первая ревизия текста была, однако, явно неудовлетворительной. В. Е. Якушкин, давший впоследствии описание рукописи (Рум. Муз. № 2387 А — „Русск. Стар.“ 1884 № 12, стр. 544—546), нашел в тексте Анненкова более семидесяти крупных и мелких неточностей, но сам из замеченных пропусков и ошибок привел лишь некоторые. Много позднее (1903 г.) И. А. Шляпкин напечатал и первоначальную программу „Истории“, которая была опущена видевшим ее Анненковым и считалась утерянной: она несомненно является ключом к правильному расположению частей „Истории“ и может дать важный материал для изучения отношения оставшихся отрывков к незаконченному целому. Несмотря на эти подготови-

тельные работы, даже Венгеровское издание „Истории“ (т. IV, стр. 227 — 236), до последнего времени считавшееся наиболее исправным из существующих, было далеко от точности и полноты. Правильно прочитав в заглавии и тексте „Горюхино“ вместо обычного „Горохино“, С. А. Венгеров допустил другую ошибку, тем более досадную, что и она была утверждена давней традицией: середина „Истории“ напечатана в конце. Заключением печатного текста обычно служили слова: „Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию“, тогда как самое повествование (Баснословные времена. Староста Трифон. Правление приказчика) были отнесены к середине. Такая произвольная и ни на чем не основанная планировка частей понадобилась еще первым издателям текста видимо для того, чтобы придать отдельным частям „Истории“ строгую хронологическую последовательность, и поставила перед необходимостью этнографический и географический очерк Горюхина озаглавить „Временами историческими“ — обозначением, в рукописи отсутствующим. Интригующие заключительные строки предполагавшегося окончания („приступим теперь к самому повествованию...“) создавали впечатление полной незаконченности „Истории“ и позволяли лишь мечтать о строении целой картины, которой не суждено было быть дописанной до конца.

Иное и, наконец, правильное расположение частей установлено лишь недавно в юбилейном издании Пушкина, вышедшем в 1924 г. под редакцией Б. Томашевского и К. Халабаева (Лгр. 1924, стр. 451 — 457). Замысел Пушкина предстает теперь перед нами в своем подлинном виде. Вслед за предисловием („Если бог пошлет мне читателей...“) и списком источников, служивших Белкину материалами для его труда, идет „этнографическое и статистическое“ описание Горюхина, после чего Белкин приступает и к самому повествованию. Изложение останавливается на „Баснословных временах“. С таким расположением отрывков нельзя не согласиться и потому, что его подсаживают и сохранившиеся программы „Истории“. Из них наиболее интересна та, которая найдена и впервые напечатана И. Шляпкиным<sup>1)</sup>). Сопоставление ее с сохранившимся текстом приводит к заключению, что замысел Пушкина остановился на половине: невыполненной осталась та часть, которая вплотную должна была подвести читателя к характеристике феодальных отношений в современной Пушкину деревне: „Правление старосты Антипа [Приказчик (Мирск.—сходка, бунт)]. Приезд моего прадеда тирана [На барщ. Ив. В. Т.] (Бунт) — дед мой управл. Пожар. Соседи. Пovalная болезнь. Церк. ист. [Мужики разорен.] Отец мой (Прик.) Стар. пр. при Бунт [Была богатая вольная деревня. Обеднела от тиранства. Поправилась при отце. Пришла в упадок от нерадения]“.

---

<sup>1)</sup> И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина СПб. 1903, стр. 47.



Стоит внимательно вчитаться в эти наброски. „По довольно запутанной программе ..., которую затем и не прилагаем, писал о ней П. В. Анненков<sup>1)</sup>), видно, что Пушкин хотел заставить владельца Горохина, г. Белкина, рассказать жизнь и хозяйство своего прадеда, деда и отца“. Есть, кажется, возможность и несколько полнее раскрыть намерения Пушкина. Интересно здесь прежде всего настойчиво повторенное слово „Бунт“ в различных вариациях и сочетаниях: эта сцена видимо сильно занимала Пушкина, и он затруднялся лишь в том, где удобнее начать ее изложение. Еще интереснее заключенные в скобки последние фразы черновика: они очевидно должны были удержать в памяти поэта основную идею повествования и особенно ценны для нас тем, что принадлежат не Белкину, но самому Пушкину. До сих пор говорил Белкин: даже в тексте программы Пушкин отождествил себя с ним: „Уважение мое к званию авторов попытки“... „Попытки мои в разных родах“... „Приезд мой в деревню“... „Родословная моя, мысль писать историю“..., и только последние слова как будто сказаны от лица настоящего автора. Если это действительно так, то вместе с тем это и единственные сохранившиеся нам слова самого Пушкина об „Истории“ Белкина. Чем вызвана эта замена? Тем-ли что Пушкин не определил еще, как к очевидному факту разорения родной деревни отнесется его торжественный и простодушный летописец? Тем-ли, что здесь именно замысел становился цензурно-опасным и принуждал к нарочитой осторожности в изобретении и стиле? И та и другая причина могли оказать здесь свое действие. П. В. Анненков полагал<sup>2)</sup>), что раскаяние поэта в приверженности к „пестрому сору“ фламандского натурализма „и особенно опасение злых сближений“ были причинами, почему „История села Горюхина“ была пренебрежена, забыта Пушкиным и осталась недописанной. Неясно, на какие „злые сближения“ намекает Анненков, и как понимать „раскаяние“ поэта, но думается, что причины, заставившие Пушкина отказаться от завершения замысла, были серьезнее и глубже. „История“ Белкина, судя по программе, остановилась как раз перед самой сценой бунта. Дважды зачеркнутое, слово „бунт“, наконец, оставлено было в самом конце: словно Пушкину понадобилось еще больше подготовить читателя к такой развязке, сделать ее более естественной, правдоподобной и внутренне-оправданной. Правление старосты Антипа (в тексте имя это заменено Трифоном), приезд приказчика, уничтожившего мирские сходки и установившего своеобразную политическую систему, на чем оканчивается сохранившийся текст, показали недостаточными поводами для восстания приунывших горюхонцев, и Пушкин зачеркивает в своем плане „бунт“ и вновь ставит его после слов „Приезд моего прадеда тирана“. Но и этой мотивировки оказывается недостаточно: прибавлены „пожар“ и „павальная болезнь“. Здесь находится вершина

---

1) Материалы, стр. 293 — 294.

2) *Op. cit.*, стр. 239.

повествования. Разорение дошло до предела. Все несчастия испытаны: горюхинцы дошли до отчаяния. Только теперь „Историю“, по замыслу Пушкина, должна была завершить сцена бунта: ее было так легко использовать в качестве эффектного финала. Остается сделать выводы, подвести некий итог. И Пушкин действительно делает это от своего лица, как бы резюмируя для себя смысл всего Белкинского труда: „Была богатая вольная деревня. Обеднела от тиранства. Поправилась при отце. Пришла в упадок от нерадения“, но тотчас же поспешно зачеркивает эти слова, как бы торопясь вновь одеть маску своего летописца. Слова „поправилась при отце“ могли указывать на то, что мрачная картина должна была быть несколько смягчена в тех же цензурных целях, но вовсе не на то, что белкинский труд должен был продолжаться далее: „История села Горюхина“ все же гораздо законченнее, чем это казалось ее издателям и комментаторам; в бумагах Пушкина, по крайней мере, не осталось никаких следов дальнейшего развития замысла, а сохранившиеся краткие наброски другой программы<sup>1)</sup> варьируют лишь начало рассказа, и писаны, вероятно ранее той, заключение которой приведено выше. Описав современное состояние Горюхина, Белкин едва-ли должен был снова возвращаться к тому же в конце своего труда.

Таким образом, если Пушкин свою „Историю“ бросил писать перед самой сценой бунта, затрудняясь, как это показывает программа, в расположении материала и выборе подходящих красок, то не в этих-ли трудностях в развитии сюжета, становившегося кроме того опасным в цензурном смысле, нужно видеть главную причину того, что произведение осталось неконченным? Нет ничего невероятного в том, что некоторые задуманные сцены этой невыполненной части „Истории“, в ином освещении и плане, могли быть использованы потом в „Дубровском“ или „Капитанской дочке“: по крайней мере для сцены крестьянского бунта романтика разбойничьей повести или спокойное повествование исторического романа были гораздо пригоднее, чем острые формы пушкинского памфлета.

Если эти соображения правильны, нет оснований заподозрить со стороны Пушкина личные выпады против Карамзина или Полевого, стремление пародировать их историографические и литературные приемы. Все это не могло стоять, во всяком случае, на первом плане. „История села Горюхина“ шире и значительнее пародии на исторические труды. Пушкин смеется не над „Историей Государства Российского“ или „Историей Русского Народа“, но над целой Россией, „этой огромной деревней“, что отмечает уже и А. Искоз в специальной статье<sup>2)</sup>. История полного разорения де-

<sup>1)</sup> „Вступление. Глава I. Статистика обывателей. Географич. описание Горюхина“; в другом месте: „Торговля, браки, похороны, одежда, язык, поэзия. Число жителей. Архитектура, церковь дер. под“. (Изд. Ефремова, т. VIII, стр. 534).

<sup>2)</sup> Изд. Венгерова, т. IV, стр. 237 — 246.

ревни, заключенная сценой бунта, если бы последняя была написана, дала бы повод к иной оценке белкинского труда: трагический финал окрасил бы в более зловещий цвет всю веселость оставшегося нам гротеска. Бедность исторического предания, приукрашенного стараниями отечественных летописцев, бесцветная и унылая пустыня современной жизни, с которой не связано никаких помыслов величия и героизма — таков сокровенный смысл „Истории“ Белкина, этой летописи бедствий, изложенной глубокомысленным стилем простака, в наивности и скудости душевной не понимающего всей горечи событий, о которых он повествует с торжеством и самоудовлетворением. В тонкой и печальной усмешке Пушкина многое значительно ближе к патетике „Философических писем“ Чаадаева (кстати говоря, писавшихся одновременно с „Историей села Горюхина“), чем к веселости и остроте злободневных памфлетов. Несравненное мастерство „Истории села Горюхина“ однако заключается в тесной, неразделимой спайке комического и серьезного, в том, с каким искусством глубокие историософские проблемы облечены здесь тонкой и плотно облегающей их тканью пародии.

Пародия Пушкина должна была иметь в виду не специально то или иное произведение русской исторической литературы (Карамзин, Полевой), но некоторые общие нормы русской историографии. Идиллические представления о славянском быте, красноречивые описания малозначительных событий, щегольство сомнительной эрудицией, претензии местного патриотизма, — все это можно было найти у плеяды мелких писателей этой эпохи. Доморощенные, дилеттантские занятия историческими исследованиями были в большой моде после Карамзина; зарождался интерес к областной истории; многие губернские города, как это отмечает и Белкин, действительно нашли в эти годы своих летописцев и бытописателей<sup>1)</sup>; охотно собирали исторические материалы и относительно своих наследственных вотчин. Среди мелких исторических статей карамзиниста М. Макарова мы находим, например, статью: „Перекол или и моя деревня должна принадлежать истории“<sup>2)</sup>, написанную совершенно в белкинской

---

<sup>1)</sup> „Моск. Телеграф“ (1825 I, стр. 82) в рецензии на „Историю Нижнего Новгорода“ Г. Гурьянова отмечает впрочем: „все донные вышедшие истории: Смоленска, Курска, Воронежа, Пскова превосходнее этой книги, а и те порядочно плохи“.

<sup>2)</sup> „Сын Отечества“ 1817, ч. 42, стр. 169 — 171. „Иногда и самое бездельное замечание подает случай к открытию величайших и полезнейших исторических истин“, начинает Макаров, заранее уверенный в том, что его замечания будут иметь выдающийся исторический интерес. Речь идет о принадлежащей автору рязанской деревне „Перекол“. Кратко описав ее расположение и современное состояние, Макаров начинает мечтать: „Значущее имя Перекола или Переколи, где может быть храбростью прежних героев наших переколота рать неверная, имя Завытей, где погребены убиенные герои и по тогдашнему обычаю там завыты (обвыты) или оплаканы, а может быть не тут ли же выло и побежденное какое нибудь войско татарское? Все это и вообще и порознь точно и точно историческое!“ Макаров в восхищении от собственных догадок: „Что же касается до меня, я доволен

манере. Что же касается содержания и стиля русской исторической науки, то уже со времен „Вестника Европы“ редакторства Каченовского они стали предметами журнальных прений, пародий и подражаний. В 1834 году, т. е. через четыре года после пушкинской „Истории села Горюхина“, вышла в свет остроумная сатира на целое историческое общество, глубокомысленно решающее вопрос о „царе Горохе: когда царствовал государь царь Горох, где он царствовал и как царь Горох перешел в преданиях народов до отдаленного потомства“: здесь среди других осмеяны Каченовский и Н. Полевой, — последний в связи с „Историей русского народа“<sup>1)</sup>. Отметим здесь также попытку воспользоваться формой ученого трактата в целях личной и общественной сатиры: это „Рукопись покойного Клементия Акимовича Хабарова, содержащая Разсуждение о Русской азбуке и биографию его, им самим писанную, с присовокуплением портрета и съемка с почерка сего знаменитого мужа, с эпиграфом: *pop lo sobobbo in mondo* (?). Москва, 1828“, по отзыву „Московского Вестника“ (1828, ч. XI, стр. 69) — „забавная тетрадка, содержащая много острых насмешек над разными явлениями в русской литературе“. Клементий Акимович Хабаров, отдаленный предшественник Козьмы Пруткова, кое в чем напоминает и автора „Истории села Горюхина“.

Все эти соображения не исключают возможности предположить, что идея воспользоваться маской провинциального летописца для того, чтобы осмеять искусственные и торжественные приемы исторического стиля, каким пишутся истории государств и народов, могла у Пушкина возникнуть под влиянием какого-нибудь аналогичного произведения. Действительно, В. В. Сиповский в статье „К литературной истории села Горюхина“<sup>2)</sup>, указал на сатиру немецкого писателя G. W. Rabener'a (1714—1771) „*Chronik des Dörfchen Querlequitich*“, которая в 1764 году переведена была и на русский язык („Сокращение, учиненное из летописи деревни Кверлеквич“). В ней многое, по его мнению, напоминает „Историю села Горюхина“. Попытка В. В. Сиповского доказать, что Пушкину могла быть известна „Хроника“ Рабенера, и что она могла натолкнуть его на сходный замысел, встретила серьезные возражения<sup>3)</sup>. Если и признать вместе с В. Сиповским, что Рабнер пользовался в России в XVIII в. некоторой популярностью, то у нас все же нет никаких данных для утверждения, что Пушкину его „Хроника“

---

уже и тем, что и моя деревня принадлежит к любопытнейшим памятникам истории русской“. Чем этот сельский историк отличается от простодушного Белкина, глубокомысленно причисляющего древних горюхинцев к исконным славянам?

<sup>1)</sup> „Подарок Ученым на 1834 г.“ М. 1834. См. об этой брошюре заметку И. М.-ка „Библиографические Записки“ 1858 № 1, стр. 17 — 22.

<sup>2)</sup> „Пушкин и его современники“ вып. IV, стр. 47 — 58. Ср. в его же книжке: „Пушкин. Жизнь и творчество“. СПб 1907, стр. 543 — 552.

<sup>3)</sup> Ср. напр., указанную выше статью А. Искоза, изд. Венгерова, т. IV, стр. 246.

была известна<sup>1)</sup>. В тяжеловесной и скучной сатире Рабенера ничто не напоминает тонкую пародию Пушкина: она представляет собой род сельской хроники, изложенной возвышенным слогом, с частыми классическими реминесценциями и аналогиями, приемом однообразным и быстро надоедающим. Правда, здесь, как и у Пушкина, летопись начинается от „мифологических времен“ (от сотворения мира), дано географическое описание деревни, и свое родное село автор, в духе Белкина, сравнивает с Римом, а своего тестя, изгнанного из города надменного городского писаря — с Цицероном, подобным же образом поступившим с Катилиной. В остальном между этими произведениями сходства почти нет и В. В. Сиповскому приходится признать, что главным основанием для сближения произведений Рабенера и Пушкина является то, что они „совершенно одиноки по своему типу среди массы произведений всеобщей литературы“. С этим трудно согласиться. „Хроника“ эклектика Рабенера не совсем одиноко стоит в одной немецкой литературе<sup>2)</sup>; жанр летописи „от сотворения мира“ не раз использован был для сатирических целей и в других литературах, в эпоху борьбы с высоким стилем теократических построений историографии. Смеясь над Боссюэтовыми „Discours sur l'histoire universelle“ и его подражателями, Вольтер писал в „Письмах Амабеда“: „я сравниваю их с жителями деревни, говорящими напыщенным слогом о своих лачужках и не имеющими никакого понятия о том, где находится столица государства“. Не прибегая к отдаленным аналогиям и сопоставлениям, можно указать на хронологически близкие Пушкину острые и злые памфлеты П. Л. Курье, из которых например, его прославленная „Gazette de village“ (1823) по типу своему прямо подходит к „Истории села Горюхина“. Курье скрывает себя за протосердечием и наивным лукавством Поля Луи, „виноградаря из Тюрени“ и заставляя своего воображаемого автора, как человека „до некоторой степени грамотного“ записывать происшествия и рассказы односельчан; в результате получается нечто в роде летописи деревенской жизни на манер белкинских записей; с замечательным мастерством, на характерных неурядицах маленькой общины, Курье вскрывает недостатки целого политического строя. Но он дает нам не „Историю“ деревни, но лишь „газету“ ее — сплетни и слухи, расположенные в порядке ежедневного дневника.

---

1) В 20-ые годы о Рабенере, как писателе и человеке, русским читателям напомнил Гете в тех отрывках своих „Записок“, какие помещены были в „Моск. Телеграфе“ (1825 № V, стр. 7 — 8); едва-ли, впрочем, это случайное упоминание могло сыграть какую-нибудь роль: имя Рабенера было у нас основательно забыто.

2) В „Хронике“ Рабенера и характеры действующих лиц и общий колорит заимствованы у Хр. Вейзе (1642 — 1708); от него же взято и самое название (Querlequitch от — Querelarum quies): в „Bäurischer Machiavellus“ (1679) Хр. Вейзе действие разыгрывается в „Weltberühmten Marktfflecken Querlequitch“. Ср. Erich Schmidt, „Allg. Deutsche Biographie“, t. XXVII, S. 84.

Однако, из всех западных аналогий, которые могут вспомниться по этому поводу, есть одна, на которой стоит остановиться подробнее. Речь идет об „Истории Нью-Йорка“ Вашингтона Ирвинга<sup>1)</sup>, произведении, стяжавшем значительную известность в первые годы XIX века, с которым знакомство Пушкина представляется вполне вероятным.

В 1807 году некий д-р Самуэль Митчэлл напечатал „Картину Нью-Йорка“ — произведение пошлое, претенциозное и безвкусное, которое однако имело прекрасный успех. Это обстоятельство и послужило для Ирвинга (и его брата, вскоре впрочем умершего) поводом для „Истории Нью-Йорка“, первоначальным замыслом которой было пародировать книгу С. Митчэля. В процессе работы книга Митчэля, взятая за образец, постепенно отодвигалась на второй план и „История Нью-Йорка“ превратилась в пародию на исторические труды вообще. Чем дальше разворачивалось повествование, тем сильнее отступал Ирвинг от первоначально намеченного плана; в конечном счете, заключительные части „Истории“ представляли собою сатирическую картину нью-йоркского общества начала XIX в., написанную добродушным и веселым пером<sup>2)</sup>. „История Нью-Йорка“ рассказана не от лица самого Ирвинга; авторство ее приписано некоему Дидриху Никкербокеру, лицу примечательному, созданному очень удачно долго пользовавшемуся самостоятельной известностью.

Мистификация и маскировка были излюбленными приемами Ирвинга — новеллиста. Он охотно пользовался фикцией рассказчика, предпочитая выдавать себя за зрителя, собеседника или издателя. Первое произведение Ирвинга — „Salmagundi“ (1806 — 1808), — серия сатирических и нравоописательных гротесков, написана от лица нескольких воображаемых рассказчиков, за маской которых легко было скрыть свою добродушную усмешку, не опасаясь прослыть ни слишком мечтательным, ни слишком трезвым. Каждый из них очерчен явственно и живо: таковы Ланслот Лангстаф, философ-юморист и тонкий наблюдатель, остроумно рисующий недостатки и смешные стороны своего круга, Уильям Уизард — карикатура на современных Ирвингу театральных критиков: он являет собою эхо общественного мнения, но тонкость вкуса развил себе долгим пребыванием в чужих краях: Кантоне, Калькутте и при дворе Гаитийском; таков, наконец, Антони Эверигрин — образец изящества и великосветской галантности, специалист по части балов, раутов и торжественных собраний<sup>3)</sup>. В позднейших своих новеллах, расска-

<sup>1)</sup> „A History of New-York, from the beginning of the world to the end of the Dutch dynasty“ (1809). Полный текст заглавия и библиографическое описание первого и последующих изданий книги см. „Catalogue of the Seligman Collection of Irvingiana“ — „Bulletin of the New-York Public Library“ 1926 № 2, p. 103 — 104. Здесь же названа и важнейшая литература об Ирвинге.

<sup>2)</sup> Barret Wendell, A Literary History of America, Lond. 1901, p. 171.

<sup>3)</sup> Ср. Ф. Ненарокомов. В. Ирвинг — „Русск. Слово“ 1860 № 2, стр. 60.

зываются-ли они от лица школьного учителя, вдовы сельского пастора, странствующего комедианта, Ирвинг неистощим в средствах разнообразить манеру рассказа, от имени которого ведется повествование. Даже в своих „Альгамбрских повестях“ посредником между собою и читателем он сделал старого монаха Антона Агапиду. Но ни в одном произведении Ирвинга создание образа мнимого рассказчика не сыграло такой решающей роли, как именно в его „Истории Нью-Йорка“: его Дидрих Никкербокер стал классической фигурой и получил самостоятельную жизнь; еще в 1839—42 гг. в Нью-Йорке выходил названный его именем журнал („Knickerbocker Magazine“); в Америке, считающей Ирвинга основателем своей национальной литературы, оно остается нарицательным и поныне. Если в новеллах Ирвинга образ воображаемого рассказчика вырисовался читателю в процессе чтения рассказа, то в историческом труде, по самому характеру изложения, он должен был быть во весь рост создан уже в самом начале. Подобно тому как Пушкин начинает „Историю села Горюхина“ автобиографией Белкина, „Истории Нью-Йорка“ предшествует биография Никкербокера и его обращение к читателям.

Однажды осенью 1808 года, рассказывает предуведомительное письмо первого издателя книги, какой-то иноземец поселился в „Independent Columbian Hotel“ на улице Мэльберри. Это был маленький живой старичок, одетый в черный сюртук простого покроя и бархатные брюки; хозяева гостиницы приняли его за сельского учителя. Его замкнутый образ жизни, загадочно-философский взгляд,— все это привлекло к нему осторожное внимание. Сначала неплатеж его за квартиру и стол, которым странный постоялец пользовался скромно, но регулярно, приписали его рассеянности; когда же долготерпение хозяев истощилось и владелец отеля осторожно напомнил незнакомцу о следуемой плате, последний молча повел его в свою комнату и таинственно указал на старенький кожаный чемодан, стоявший в углу: он, по его словам, заключал в себе сокровище, которое вполне обеспечивало хозяев от напрасных тревог за судьбу его незначительного долга. Вскоре затем незнакомец исчез. Розыски его не привели ни к чему; газетные объявления остались без ответа. Чемодан был вскрыт по истечении законного срока. В нем не оказалось ничего, кроме груды бумаг: это была несравненная, единственная „История Нью-Йорка“, труд, обессмертивший Никкербокера и поставивший его в один ряд со знаменитыми историографами древности. Таково вкратце письмо владельца отеля, воспользовавшегося дружбой книгопродавца, чтобы выпустить „Историю“ в свет и оправдывавшегося перед читателями в невольном присвоении чужой собственности. Издатели нашли нужным приложить к нему несколько разъяснений и дополнительных сведений о Никкербокере, который впоследствии разыскался в одной из американских провинций, собирающим новые подробности для своего труда: известие, что он уже напечатан, застало его врасплох. Издатели сообщают черты для его био-

графин, какие им удалось раздобыть, те мысли и замечания, которые Никкербокер изрек тем лицам, кто добивался и получил счастье его видеть<sup>1)</sup>.

Однако и сам Никкербокер позаботился о том, чтобы быть правильно понятым и вознагражденным: о задачах и характере своего труда он сам рассказывает в своем обращении к читателям („To the public“). „Дабы спасти от забвения воспоминания о событиях давних времен и оказать справедливую дань известности многим великим и удивительным делам наших голландских предков, Дидрих Никкербокер, уроженец города Нью-Йорка, производит этот исторический опыт“, начинает он, перефразируя Геродота („Клио“ кн. I, гл. 1). „С возможной заботливостью начертал я раннюю историю нашего почтенного и старинного города, постепенно ускользящую из наших объятий, дрожащую на устах предания и с каждым днем все более и более клонящуюся к могиле забвения“. Ему кажется страшным, что нерадивые потомки прославленных отцов, „поглощенные суетными удовольствиями незначительных событий настоящей эпохи“, забудут вскоре патриархальные времена. „Происхождение нашего города будет погребено в вечном забвении, а имена и кончина Уотера ван Твиллера, Уильяма Кифта и Петера Стьювезента будут окутаны сомнением и вымыслом, как имена Ромула и Рема, Карла Великого, короля Артура, Ринальдо и Годфрида Булонского“<sup>2)</sup>. Чтобы отвратить, если возможно, это близкое несчастье, Никкербокер трудолюбиво принялся за собиранье осколков старины, следуя по стопам своего любимого Геродота („*tu favouit Herodotus*“...), который допускал пользование преданием там, где подлинных записей оказывалось недостаточно. Источниками его труда, помимо всех величайших историков старых и новых времен, которых он цитирует в нужных местах, были семейные архивы и устные рассказы: „Я извлек много ценного и любопытного из тщательно обработанной рукописи, написанной за исключением немногих орфографических ошибок на чистом и классическом голландском языке, которая была найдена в фамильном архиве Стьювезентов. Много записей, писем и других документов нашел я во время своих исследований фамильных сундуков и чердаков с хламом наших уважаемых граждан; много подлинных преданий сообщили мне разные старые лэди, хотя и принадлежащие к кругу моих знакомых, но просившие однако, чтобы имена их остались в неизвестности“<sup>3)</sup>. Из дальнейшего изложения видно, впрочем, что Никкербокер вовсе не склонен был оставлять их в сыром, необработанном виде. Подобно Белкину, который такие слова как „кабак“ и „сходка“ употребляет не иначе, как с оговорками, предпочитая им выражения „увеселительное заведение“ и „вече“, Никкербокер в цитируемых им дневниках и памятных записках первых

<sup>1)</sup> Цитирую по изданию: „The Works of W. Irving“, vol. I, Lond. 1904, pp. XII — XIX.

<sup>2)</sup> W. Irving, Works, I, p. XX.

<sup>3)</sup> Op. cit., p. XXI.



обитателей Мангаттана принужден сделать некоторые пропуски, чтобы читатель не нашел их слишком грубыми<sup>1)</sup>). Внешняя сторона изложения вообще стоила Никкербокеру большого труда и была предметом его особенной заботливости. Он сам видимо наслаждается течением своего рассказа и по мере сил старается придать ему торжественность и величие. „В направлении этого скромного произведения я не придерживался какой-нибудь индивидуальной формы; напротив, я удовольствовался лишь простым комбинированием и концентрацией превосходств наиболее известных старых историков. Подобно Ксенофону я был совершенно беспристрастен, стараясь возможно ближе держаться истины в изложении событий вплоть до конца своего повествования. Я обогатил его по манере Саллюстия разнообразными характерами старинных героев, начерченными во весь рост и роскошно раскрашенными. Я приправил его глубокими политическими размышлениями как Фукидид, подсластил грацией чувств, как Тацит и влил в него достоинство, величие и великолепие Ливия“<sup>2)</sup>). Но это не единственные его образцы: впоследствии он гордо сравнивает свой труд с Гиббоном, Юмом и Смоллетовой „Историей Англии“<sup>3)</sup>): вспомним Белкина, который любит свои соображения подкреплять ссылками на Нибура и называет аббата Милота с его „Всеобщей Историей“ и русских историков XVIII в.: Татищева, Болтина и Голикова.

Вполне подготовив читателя к восприятию своего труда и сам настроившись на торжественный лад, Никкербокер приступает, наконец, и к самому повествованию, начиная свою „Историю“ от сотворения мира: целую книгу занимают „diverse ingenious theories and philosophic speculations, concerning the creation and population of the world, as connected with the History of New-York“ (Book I, pp. 1 — 33). Он не скупится на цитаты и ссылки, рядом с Платоном, Аристотелем и Диогеном Лаэртием упоминая и других ученых мужей вроде профессора Von Poddingcoft'a или Puddinghead'a, как его имя должно было бы произноситься по-английски<sup>4)</sup>). Белкин более скуп на предварительные ученые разъяснения и не утомляет читателя однообразием комического осмысления смешных вымышленных имен, несуществующих или странно-звучащих названий. „Основание Горюхина и первоначальное население онога покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители онога были зажиточны... Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродни всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и по опыту

---

1) Op. cit. p. 39: „The journal goes on to make mention of diverse interviews between the crew and the natives, in the voyage up the river; but as they would be impertinent to my history, I shall pass over them in silence“.

2) Op. cit., p. XXI

3) Op. cit., p. XXIII.

4) Op. cit., p. 3. Игра слов: Puddinghead — „голова пуддинга“.

имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения“.

Окончив свое несколько длинное вступление, Никкербокер знакомит читателя с современным положением деревушки Коммюнипо, расположенной неподалеку от Нью-Йорка, которая была местом первого поселения пришельцев, будущих основателей города. „Коммюнипо представляет собою в настоящее время маленькую деревушку, живописно расположенную посреди сельского пейзажа, в той красивой части берега Джерсея, которая в старинных сказаниях известна под именем Павонии и главенствует в панораме большого Нью-Йоркского залива“<sup>1</sup>). Дав описание ее местоположения, географических и климатических особенностей, Никкербокер переходит к характеристике ее населения, описывая этнические признаки жителей, их обычаи, нравы, язык. „Одежда местных жителей ненарушимо передается от отца к сыну: традиционная широкополая шляпа, просторная куртка и объемистые широкозадые штаны переходят из поколения в поколение, а некие гигантские подвязки из массивного серебра, являвшие собой в патриархальные времена настоящую выставку изящества, носятся еще и поныне“<sup>2</sup>). „Язык также остается девственным; в него не проникают варварские нововведения“ и чтение сельским учителем голландского псалма так же мягко, как звуки ручной пилы<sup>3</sup>). Вспомним Белкина: „Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимой носили они овчинный тулуп, но более для красоты, нежели из настоящей нужды“... „Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями—некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими“...

„Исполнив в небольшом отступлении, которым закончилась предыдущая глава, сыновний долг, который Нью-Йорк обязан воздать Коммюнипо, как матери-поселению, продолжает Никкербокер, и изобразив верную картину того состояния, в каком оно пребывает сейчас, возвращаюсь с чувством собственного одобрения к изложению его ранней истории“<sup>4</sup>). Отсюда собственно только и начинается самый рассказ.

Повествуя о первых годах жизни колонии, ставших известными Никкербокеру из дневников первых поселенцев и устных преданий, Ирвинг живописует ряд колоритных фигур завоевателей и туземцев, вступающих между собой в непрерывные споры и пререкания. Материал расположен хронологически, сообразно „правлениям“ губернаторов; их именами озаглавлены отдельные части истории; первая из них „Golden Reign of Wouter van Twiller“ звучит, как белкинское „Правление приказчика“. Педантически и не

<sup>1</sup>) Op. cit., p. 43.

<sup>2</sup>) Op. cit., p. 45.

<sup>3</sup>) Op. cit., p. 45.

<sup>4</sup>) Op. cit., p. 45.

без остроумия характеризованы ближайшие соратники „правителей“, их друзья, подчиненные и прочие граждане: дана целая портретная галерея, рассчитанная на то, чтобы читатель в бургомистрах и шеппенах XVII века мог узнать своих современников и знакомых лиц. На первых порах Никкербокер не забывает, что он не новеллист, а историк; имея перед глазами образцы высокого стиля, которым излагаются обычно целые эпохи мировой истории, он и судьбам родного поселения тщится придать важное историческое значение, стараясь в то же время сообщить своему рассказу наиболее выгодное освещение. Этим несоответствием выражения понятию, торжественностью изложения анекдотической фабулы и достигается простейший комический эффект пародии. Но Никкербокер не только повествует; он охотно пускается в рассуждения; подобно Белкину, он на каждом шагу стремится подчеркнуть свое глубокомыслие, способность к анализу источников, остроумие и безошибочность своих гипотез и обобщений. Речь идет, например, о некоем Ван Зандте: его имя тотчас же дает повод к догадкам: „имя Ван Зандт, т. е. происходящий от песка („Van Zandt, that is to say, from the sand“...) или в просторечии от праха, дает основание полагать, что подобно Триптолему, Фему, Циклопам и Титанам он произрос от матери земли! („...„From Dame Terra or the Earth!...“). Это предположение в сильной степени подтверждается еще и тем, что, как известно, все потомки Матери - Земли были гигантского роста, а Ван-Зандт, как мы уже сказали, был высокий костлявый человек шести футов ростом с удивительно крепкой головой“. По поводу другого действующего лица — Тэн Брэка, Никкербокер вновь пускается в предположения; игра слов использована Ирвингом для тех же пародических целей: „имя Тэн Брэк (Ten Broeck) или, как его иногда произносили, Тайн Брэк (Tin Broeck), было спокойно переделано в Тен Бричс или, Тайн Бричс (Ten, Tin Breeches). Некоторые изящные и благородные писатели по этому поводу высказались в пользу Tin или еще Thin Breeches (тонкие брюки), откуда они и заключают, что подлинным носителем их (т. е. брюк) был бедный, но веселый плут, чьи кожаные штаны (galligaskins) были не из глубочайших, и который может быть является автором этих поистине философских стансов:

Так зачем же нам ссориться из-за богатства  
Или других блестящих игрушек;  
Легкое сердце и пара тонких брюк  
Пройдут весь свет, мои славные парни!<sup>1)</sup>“

Белкин пишет: „Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения Архипа Лысого сохранились в памяти

<sup>1)</sup> p. 49: „Then why should we quarrel for riches  
Or any such glittering toys;  
A light heart and thin pair of breeches  
Will go through the world, my brave boys!“

Ирвинг воспользовался здесь старой английской песней; ее приводит между прочим, Смолетт в своем романе „Roderick Random“ (ch V).

потомства. В нежности не уступят они эклогам известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостью и остроумием“. В пример приведено одно из „сатирических стихотворений“.

Приемы Ирвинга и Пушкина, как это можно заметить из приведенных выше беглых сопоставлений, несомненно сходны. Для нашей задачи сопоставления эти достаточны и их можно не продолжать далее. Оговоримся, что речь здесь идет не о близости содержания обоих произведений и их сюжетного построения, но именно о сходстве приемов, использованных для одной и той же цели. И Пушкин и Ирвинг пародируют традиционную стилистическую структуру научного исследования, шаблонные приемы высокого исторического стиля. И если указанное сходство в известном отношении может объясняться сходством обычной конструкции исторических трудов вообще, то для сближения „Истории Нью-Йорка“ с „Историей села Горюхина“ есть и более веские основания. Сходство приемов Ирвинга и Пушкина приводят к аналогичному комическому эффекту, на который ближайшим образом рассчитывают и один и другой. Обнажение приемов происходит здесь при помощи маскировки в фикцию воображаемого летописца; частные исторические аналогии, отступления, рассуждения, цитаты, становятся смешными именно потому, что самая маскировка слишком ощутима и автор непрерывно устремляет своего читателя по пути, совершенно противоположному тому, куда его должен был направить рассказчик. В результате противоречия идеи и формы происходят как бы непрерывные „срывы“ одного плана и замены его другим.

Однако, нагромождение однообразных эффектов комического осмысления, беспрестанно повторяющихся в том же логическом ряду, может стать утомительным и привести к обратному действию. Так именно и случилось с Ирвингом.

„История Нью-Йорка“, начатая, как пародия на приемы исторического повествования, постепенно превращалась в широкую картину современного Ирвингу общества; за счет исторических рассуждений разрастался повествовательный материал; искусственная, намеренно-цветистая и сложно-построенная речь, составлявшая вначале истинную цель рассказа, все более и более стесняла автора, и становилась явно утомительной для читателя в произведении, растянувшись на двести с лишним страниц. Разнообразить приемы пародии, по самому свойству пародируемого материала, было трудно, и они исчерпаны были уже в первых главах „Истории“: однообразная поза историка, увлеченного своим рассказом, возводящего происшествия на степень событий и принимающего анекдот в качестве исторического факта, кстати и некстати щеголяющего своими воспоминаниями и аналогиями эрудита и своей сомнительной способностью к критике и обобщениям, становилась слишком урядной и переставала смешить. Внимание перемещалось на самое

действие и фигура историка отходила на второй план. Ирвингу оставалось одно: воспользоваться дневниками и преданиями шире, чем он допускал это вначале, предоставляя рассказывать не одному воображаемому автору, но нескольким, и уделяя, таким образом, больше внимания источникам Никкербокера, чем ему самому. Действительно, „История Нью-Йорка“ постепенно превратилась в цепь новелл, связанных в одно целое лишь хронологией событий и общностью некоторых действующих лиц. Так „Похождения Джозефа Андрияса“ Фильдинга, начатые как пародия на Ричардсонову „Памелу“, теряли свой пародийный характер по мере того, как автор сам увлекался судьбой своих героев, забывая об образце, которому он собирался следовать. Для Ирвинга такое отклонение от первоначального плана было тем естественнее, что в искусстве новеллы он сделался впоследствии общепризнанным мастером; линия короткого рассказа (short story), идущая через всю американскую литературу, восходит к Ирвингу, как основателю жанра; его приемы новеллиста воскресают и обновляются у Брет-Гарта, Марка Твэна и О. Генри.

Не та ли судьба ждала и Пушкина, если бы он продолжал „Историю села Горюхина“? Как только от „баснословных“ времен он перешел к историческим, от описания нравов древних горюхинцев—к сцене бунта, Белкина готов был подменить Пушкин, пародию—повесть или рассказ в форме дневника или автобиографии. И хотя в сохранившемся тексте „Истории села Горюхина“ можно найти лишь единственный намек на такой прорыв пародийного плана, в рассказе Белкина о том, как встречали его крепостные и как „кормилица обняла его с плачем и рыданием, точно многострадального Одиссея“<sup>1)</sup>, но внимательное изучение программы может подтвердить, что поводов для отклонения пародии и замещения ее повестью или рассказом в замысле Пушкина было не мало. Важно поэтому, что „История села Горюхина“ окружена цепью новелл, рассказанных от лица того же Белкина и писавшихся одновременно с нею: для решения вопроса, почему „История“ осталась неоконченной, последнее обстоятельство имеет несомненное значение.

Итак, произведения Ирвинга и Пушкина имеют много общего в замыслах и приемах построения: эстетическая оценка их не входит в нашу задачу. Сделанные сопоставления позволяют предположить, что сходство их не совсем случайно.

„История Нью-Йорка“, сколько знаем, не была переведена на русский язык; ее нет и в библиотеке Пушкина, по крайней мере, в той ее части, которая дошла до нас. И все же нет ничего невероятного в том, что это произведение Ирвинга могло быть известно Пушкину хотя бы из вторых рук<sup>2)</sup>. Об интересе Пушкина к Ирвингу

---

<sup>1)</sup> Ср. наблюдения В. Ф. Боцяновского „К характеристике работы Пушкина над новым романом“ — „Sertum bibliologicum“ в честь А. И. Малеина, П. 1922, стр. 191 — 192.

<sup>2)</sup> Для нас достаточно предположения, что Пушкин знал об этом произведении и Ирвинга: самый текст „Истории“ он едва ли читал до конца или даже в отрывках.

свидетельствует прежде всего то, что в его библиотеке сохранился ряд книг американского беллетриста, главным образом во французских переводах (№ 1016—1021); на одной из них стоит имя А. Тургенева. В статье своей „Джон Теннер“ („Современник“ т. III, стр. 206 — 207), Пушкин цитует отзыв Ирвинга о туземном населении северо-американских штатов. Широкая осведомленность Пушкина в мировой литературе, его интерес к английским *Reviews* и *Magazine's*, обнаружившийся у него после 1828 года в период его серьезных занятий английским языком, где американский писатель упоминается довольно часто — все это убеждает в том, что имя Ирвинга уже в 1830 г. было Пушкину хорошо известно.

Любопытно, что на вторую половину 20-х гг. в русской журналистике падает как раз полоса довольно сильного увлечения Ирвингом. В 1825 году Н. Полевой, помещая в своем „Телеграф“ перевод остроумного очерка Ирвинга „Искусство делать книги“, вынужден еще отметить в примечании, что он принадлежит писателю „у нас почти неизвестному“ („Моск. Телегр.“ 1825 ч. I, № IV, стр. 297 сл.), но уже через несколько лет повести и очерки Ирвинга на перебой помещают все русские журналы: „Сын Отечества“, „Вестник Европы“, „Литературная газета“ и др.<sup>1)</sup> В 1828 г. Пушкин мог прочитать в „Московском Вестнике“ (т. IX, стр. 190) следующую рекомендацию помещенным здесь отрывкам „Жизни и странствий Христ. Колумба“: „Чистота и изящество слога энергического, счастливое выражение души свободной и мыслящей, вероятно не удивят никого, кто знаком с прежними сочинениями

---

<sup>1)</sup> Приводим указания на некоторые из переводов: в Московском Телеграфе помещены: „Гостиница в Террачине“ (1825); „Вольфер Веббер или Золотые сны“ (1826), „Безголовый мертвец“ (1826), „Баккалавр Саламанский“ (1826), „Заколдованный дом“ (1827), „Аннета Деларбр“ (1828), „Принц Ахмед“ (1832); в Вестнике Европы: „Фома Валькер“ (1826), „Виндзорская тюрьма“ (1829), „Царица мая“ (1829), „Растерзанное сердце“ (1829); в Атенее: „Букстори и его друзья“ (1828), „Трактирная кухня“ (1828), „Таанственный портрет“ (1829); в Телескопе: „Губернатор Мокко“ (1831); в Сыне Отечестве и Северном Архиве: 1825—1830 „Отрывок из рассказов одного путешественника“ (Из *Sketch-Book*), „Кухня в трактире“, „Том Вольф“, „Живописец“, „Вдова учительница гор“ (Из *The Chronicle of Sapongate*), „Саламанский студент“; в Литературной газете: „Приключения маленького антиквара“, „Черный господин“ и т. д. Повести Ирвинга помещены также в изданиях Полевого: „Повести и литературные отрывки“ (М. 1829—1830) и Надеждина: „Сорок одна повесть лучших иностранных писателей“ (М. 1836). Ср. указания Н. К. Козмина (Н. А. Полевой, СПб. 1903, стр. 27, 347), Н. П. Колупанова (Биография А. И. Коселева М. 1889 т. I, кн. 1, стр. 509, 510, 527). И. И. Замотин. Романтизм 20-х гг. т. II, стр. 234. Интересно отметить популярность Ирвинга среди декабристов: Николаю Бестужеву принадлежит перевод „Рип-Ван-Винкля“, сказки о человеке, проспавшем двадцать лет („Сын Отеч.“ 1825; Ср. „Русск. Вестн.“ 1861, III, стр. 291); А. П. Беляев в Сибири перевел „Завоевание Гренады“ („Воспоминания декабриста“... СПб. 1882, стр. 298); Ирвингом интересуется В. К. Кюхельбекер, сравнивая с ним то Марлинского, то Вельмана („Русск. Стар.“ 1891, X, 92); в то же время это „любимый писатель“ Н. Греча (см. его „Путевые письма“ СПб. 1839 ч. I, стр. 5).

Ирвинга". В 1830 г. тот же журнал печатает отрывки из „A Chronicle of the Conquest of Grenada“ с восторженным отзывом о В. Ирвинге: „В. Ирвинг, один из отличнейших писателей в Американских соединенных штатах, не столько замечателен по глубокомыслию и оригинальности взглядов, как по богатству воображения и по слогу, всегда чистому и цветущему“ и т. д. („Моск. Вестн.“ 1830 ч. I, стр. 301—308).

Среди других произведений Ирвинга, упоминавшихся в русской печати, можно встретить и его „Историю Нью-Йорка“. Любопытно, что еще в 1827 году Полевой собирался поместить перевод ее в „Московском Телеграфе“. В примечании к повести „Заколдованный дом“, поясняя, что псевдоним Никкербокера выдуман Ирвингом, и что „под сим именем рассказывает Ирвинг предания американские, были и небылицы“, Полевой пишет: „Впоследствии надеемся познакомить читателей с историей Нью-Йорка, выданною Ирвингом также под именем Никкербокера, и в которой талант автора развивается в полном блеске“<sup>1</sup>). Намерение это не осуществилось, быть может из цензурных соображений или в силу тех трудностей, какие должен был представить перевод. Так или иначе, у нас знали об этом произведении Ирвинга, как знали и любили этого писателя вообще.

Тем любопытнее, что по выходе в свет „Повестей Белкина“, столь тесно связанных с „Историей села Горюхина“ и хронологически и личностью рассказчика, современники нашли в них большое сходство именно с новеллами Ирвинга. Тот же Н. Полевой настойчиво подчеркивает эту близость: „Кажется сочинителю хотелось испытать: можно-ли увлечь внимание читателя рассказами, в которых не было бы никаких фигурных украшений ни в подробностях рассказа, ни в слоге, и никакого романизма в содержании... Дарования В. Ирвинга в наше время, кажется, решили этот вопрос“. „И. П. Белкину явно хотелось попасть в колею В. Ирвинга“ („Моск. Телегр.“ 1831 № 21, ноябрь, стр. 254—256). В „безыскусственности искусства“, „в отсутствии шумихи содержания и слога“, в естественности и простоте движения повести видит Полевой основные особенности Ирвинга-новеллиста и даже готов отдать ему предпочтение перед Белкиным. Те же сопоставления Пушкина с Ирвингом находим и в „Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду“ (1831 № 98). Вопрос этот стоит внимания и заслуживает специального разбора. Не останавливаясь на нем в настоящее время, что завело бы нас слишком далеко, отметим только, что сопоставления „Истории села Горюхина“ с Ирвинговой „Историей Нью-Йорка“ были бы естественны и уместны и в русской критике

---

<sup>1</sup>) „Моск. Телегр.“ 1827 ч. XVII, стр. 14. Не мало места уделено „Истории Нью-Йорка“ в статье об Ирвинге, помещенной в „Библиотеке для чтения“ (1837 ч. IX, стр. 107—120). Статья эта однако является дословным переводом из „Revue Britannique“ 1834 t. XI, pp. 122—138, (что впрочем не оговорено в русском тексте) и куда она, в свою очередь, была заимствована из „American Monthly Magazine“.

30-х гг., если бы белкинская „История“ увидела свет на несколько лет раньше — в эпоху сильнейшего влияния Ирвинга в русской литературе.

Подведем итоги. Беглые замечания, сделанные в настоящей статье, позволяют, с моей точки зрения прийти к следующим выводам: 1) Причины, заставившие Пушкина отказаться от начатого труда, представляются более сложными, чем это казалось до сих пор. Известную, а, может быть, и решающую роль могли здесь играть: цензурные опасения (сцена бунта), встречные замыслы повестей, до известной степени поглотившие неосуществленную часть „Истории села Горюхина“ и вытекавшие из всего этого трудности выдержать до конца жанр пародии или памфлета. 2) Пародия Пушкина направлена не специально против Карамзина или Полевого, но имеет в виду некоторые общие нормы исторического исследования. 3) Замысел пародии на исторический труд, независимо от всего сказанного выше, мог возникнуть у Пушкина под влиянием аналогичного произведения. Таким произведением могла быть Ирвингова „История Нью-Йорка“; получив толчок к созданию сходного замысла, Пушкин однако, совершенно самостоятельно и на собственном материале применил сходные пародические приемы. 4) За возможность знакомства Пушкина с „Историей Нью-Йорка“ Ирвинга говорят: его интерес к американскому писателю, осведомленность в западной литературе, усиленные с 1828 г. занятия его английским языком и, наконец, сопоставления „Повестей Белкина“ с новеллами Ирвинга, сделанные современной Пушкину критикой.

*М. П. Алексеев.*



## К истории текста „Египетских ночей“.

Интерес к красочному Востоку и его легендам у Пушкина пробуждается во время его пребывания на юге; этому способствовали и места, и люди, и книги. Переезд же поэта из Одессы в село Михайловское по справедливости считается, так сказать, водоразделом в поэтическом творчестве его. Здесь, в новой обстановке, в тиши невольного уединения, созревают иные замыслы, появляются новые интересы, поэтическое воплощение которых говорит о том, как окреп национальный гений поэта.

Однако, в первое время своего пребывания в Михайловском, осенью 1824 года, Пушкин еще находился под влиянием богатых впечатлений шумной жизни юга и незабытых воспоминаний. В это время поэт быстро заканчивает уже начатое („Цыганы“, „К морю“) и создает ряд произведений, задуманных, повидимому, еще в Одессе („Разговор книгопродавца с поэтом“, „Подражания Корану“ и др.). К этому периоду относится и первоначальный набросок стихотворной части „Египетских ночей“, который известен под заглавием „Клеопатры“.

Датировку этого стихотворения нельзя считать твердо установленной. П. В. Анненков относил его к 1825 году<sup>1)</sup>. К тому же году относит его, ссылаясь на Анненкова, П. А. Ефремов<sup>2)</sup>.

П. О. Морозов пишет: „еще в 1824 — 25 г.г., в уединении своего Михайловского, поэт, вдохновившись рассказом римского писателя Аврелия Виктора о Клеопатре, продававшей свои ночи, набросал на эту тему стихотворение“...<sup>3)</sup>.

В. Я. Брюсов тоже считает, что „отрывок из поэмы о Клеопатре написан еще в 1824 — 25 г.“<sup>4)</sup>.

Н. О. Лернер „первоначальный набросок „Клеопатры“ („И снова гордый глас возвысила царица“...) относит к 1824 году, без указания на месяц и число<sup>5)</sup>.

Таким образом, вопрос о дате первоначальной редакции стихотворной части „Египетских ночей“ остается открытым.

<sup>1)</sup> Стихотворение „Чертог сиял“... было написано в 1825 году („Материалы“. 1855 г., стр. 168). См. также том V, стр. 533.

<sup>2)</sup> Изд. 1905 г., том VII, стр. 219.

<sup>3)</sup> Изд. „Просвещение“ 1904 г. т 5, стр. 535.

<sup>4)</sup> Изд. Брокгауз-Ефрон, т. IV, стр. 444.

<sup>5)</sup> Н. О. Лернер. „Труды и дни Пушкина“, стр. 110.

Рукописи этого отрывка известны нам по двум тетрадам Румянц. музея (№ 2367—лл. 32 об.—34, 48—49; № 2370—лл. 22 об.—23 об., 30 об., 35, 37 об.)<sup>1)</sup>.

Н. О. Лернер в „Трудах и днях Пушкина“ ссылается на „Русск. Стар.“ 1884 г., май, стр. 344—345, т. е. на музейную тетрадь № 2367. Между тем, нам кажется, что первоначальной редакцией „Клеопатры“ надо считать другой набросок, находящийся в тетради № 2370 л. 22 об., так как на этом листе сверху есть указание на источник его—надпись „Aurelius Victor“<sup>2)</sup>.

Если это так, то можно более точно установить и время написания этого отрывка, так как тетрадь № 2370 не представляет собою обычной для Пушкинских тетрадей пестроты и хронологической смешанности: в ней последовательно записаны исключительно произведения и черновые письма 1824—1826 г.г. При том, так как на листе 20 есть помета Пушкина „2 октября 1824 года“, а на л. 27 об. дата окончания „Цыган“ — „10 октября 1824 года“, то, кажется, с достаточной уверенностью можно сказать, что черновой набросок „Клеопатры“, находящийся на лл. 22 об.—23 об. той же тетради, относится к началу октября 1824 года.

Есть, однако, еще одно обстоятельство, указывающее на эту дату, обстоятельство, которое не только имеет методологическое значение, но и представляет самостоятельный интерес: Пушкин приступил к обработке сюжета „Египетских ночей“ среди своих „трудов во славу Корана“, когда работал над „Подражаниями Корану“, точнее, над VI подражанием<sup>3)</sup>.

На это указывают и место набросков „Клеопатры“ в обеих тетрадях, и некоторое сходство сюжетов.

„Читая это „Подражание“ (VI-ое), говорит Н. И. Черняев, кажется, видишь перед собою Магомета, окруженного толпой приверженцев и обращающегося к ним с вдохновенною речью. Он

<sup>1)</sup> См. В. Якушкин „Рукописи А. С. Пушкина“ („Рус. Стар.“ 1884 г.). Более поздние редакции: лл. 1 и 2 музейной тетр. № 2376 В — печатный текст до слов: „Глава счастливых отпадет“ на бумаге с водяным знаком 1825 года. Тетрадь № 2384 лл. 54—55 неразборчивая исчерканная черновая: „Зачем печаль ее гнетет“ (Якушкин, *ibid.* октябрь, стр. 82 и декабрь, стр. 527. Ср. изд. „Просвещение“, т. V, стр. 639). Перебеленную новую редакцию этого последнего отрывка, не вошедшего в окончательный текст, находим в рукописях музея А. Ф. Онегина в Париже, на бумаге с водяным знаком 1834 года („Неизданный Пушкин“ П. 1922, стр. 104—112).

<sup>2)</sup> Якушкин, *ibid.*, июль, стр. 9. Ср. у П. В. Анненкова: „Правда, в тетради его она исполнена таких помарок, что едва можно разобрать несколько отдельных стихов. Только сбоку весьма четко написано: „Aurelius Victor“, римский писатель IV века, который одним замечанием своим о Клеопатре подал Пушкину первую мысль о стихотворении“ (Материалы, стр. 168).

<sup>3)</sup> „Подражания Корану“ несомненно относятся к 1824 году. В Академическом издании соч. Пушкина сказано: „Как видно из рукописей, Подражания написаны осенью 1824 года (том III, стр. 470). В начале ноября того же года Пушкин писал своему брату: „Я тружусь во славу Корана и написал еще кое-что“ (Переписка, т. I, стр. 144). Н. О. Лернер в „Трудах и днях“ помещает их под октярем 1824 года.

призывает арабов, которые остались ему верны, к дележу молодых рабынь и бранной добычи, а малодушных, которые отказались идти за ним, осыпает презрительными укорами<sup>1)</sup>).

Те суры Корана<sup>2)</sup>, в которых поэт как бы услышал радостный крик Магомета к смелым детям пламенных пустынь и указание на блаженство павших в бою, могли послужить стимулом к обработке сюжета об обращении Клеопатры к тем смелым поклонникам, которые согласились бы ценою жизни купить райское блаженство на земле.

Указать на возможность более точной датировки стихотворения „Клеопатра“ и на его хронологическую и тематическую связь с VI подражанием Корану — цель настоящей заметки.

Возможно-точное установление даты первого приступа к теме необходимо иной раз хотя бы для того, чтобы избавить произведение от ложных толкований критиков. Для иллюстрации укажем на одно подобное толкование, чудовищное искажение смысла „Египетских ночей“, принадлежащее Л. Войтоловскому.

В своей статье „Пушкин и его современность“ („Красная Новь“, 1925 г., № 6) Войтоловский, указав на то, что во время николаевской реакции Пушкину приходилось „либо молчать, либо употребить иносказание“, находит у поэта ряд замаскированных образов, дает им новое толкование, произвольно искажает содержание произведений, не считаясь с общеизвестными и твердо установленными фактами. Так он, ничтоже сумняшеся, утверждает, что и в „Пире во время чумы“, и в „Египетских ночах“ Пушкин имел в виду... декабристов.

При этом критик и сейчас уверен, что Пушкин написал эти отрывки из трагедии „Пир во время чумы“ от имени несуществующего (sic!) английского драматурга. А ведь в любом издании сочинений Пушкина, снабженном примечаниями, он мог бы узнать не только о том, откуда и как переведены поэтом эти отрывки, но даже биографию этого „несуществующего“ шотландского поэта — Вильсона<sup>3)</sup>.

Еще печальнее обстоит дело с „Египетскими ночами“. Под пером бойкого критика Клеопатра легко превращается в символ Свободы, а поклонники ее — в декабристов. „Восстановите в памяти, говорит он, всю эпоху декабрьского восстания и перечитайте заново описание трех смельчаков, откликнувшихся на торг смертельной любви“. „Воин, поэт и безвестный юный смельчак. Нетрудно подставить под эти портретные наброски имена полковника

1) „Пророк“ Пушкина в связи с его „Подражаниями Корану“ М. 1898, стр. 60.

2) 163—165 стихи 3-й суры, 28 стих 4-й суры, 42 с. 8-й суры, 18—19 с. 48-й суры, а также 11, 12, 15, 27 с. 48-й суры, 38, 84 с. 9-й суры и др.

3) Новейшие подробнейшие сличения Пушкинской драмы с текстом Вильсона сделаны Н. В. Яковлевым — „Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова“ П. 1923, стр. 93—170.

Пестеля, поэта Рылеева и юного Каховского. Три смельчака, откликнувшихся на вызов любви. Сенатская площадь была для них ложем Клеопатры, где первый поцелуй русской свободы превратился в поцелуй смерти“.

Не будем говорить о недопустимом извращении смысла произведения. Укажем лишь на один факт: такое толкование может быть еще было бы мыслимо, если бы было известно, что Пушкин приступил к этой теме не ранее конца июля 1826 года, когда весте о пяти повешенных декабристах дошла до него. Между тем все издатели соч. Пушкина „Клеопатру“ относили либо к 1824, либо к 1825 годам. А первоначальная редакция этого стихотворения, как было указано выше, несомненно относится к октябрю 1824 года, т. е. первый набросок его, в котором уже даны характеристики трех смельчаков, сделан поэтом почти за два года до казни декабристов.

Судьбе было угодно зло посмеяться над Войтоловским: на первых страницах своей статьи о Пушкине он возмущается тем, что „многие пушкинисты по прихоти воспроизводят небывалые происшествия, навязывают Пушкину небывалые чувства, заменяя исследования в области текста и изучение эпохи всякими фантастическими измышлениями“, чтобы к концу той же статьи самому притти к подобным же измышлениям.

Добавим, что это новое мудрствование не осталось на страницах случайной журнальной статьи автора, а уже заняло почетное место в его книге „История русской литературы XIX и XX веков“, которая допущена Научно-педагогической секцией Госуд. учен. совета для школьных библиотек. А рецензент книги („Правда“ 1926 г. № 111) Е. П. пишет: „Даже к Пушкину автор подходит своеобразно: его попытка расшифровать „Египетские ночи“, как гимн героизму декабристов, остроумна. Такой подход интересен и имеет свои основания. У каждого из предшествовавших поколений был свой ключ к художественному шифру наших классиков. Октябрьская же революция, разрубившая своим мечом все узлы дореволюционного уклада, осветившая своим грозным огнем все накопившиеся противоречия, расшифровала многие зашифровки. Теперь вдумчивому критику простор“.

Этот простор, однако, окажется весьма опасным прежде всего для самих же этих „вдумчивых критиков“, если и они с пренебрежением отнесутся к трудам пушкиноведов, которые-де, по словам Л. Войтоловского, „рассекая, как безжизненные трупы, рукописи поэта, проморгали сквозь запыленные стекла своей учености... самый дух пушкинского творчества“.

*Я. Багдасарянц.*

## Пушкин и библиотека Воронцова.

Биографы Пушкина давно уже отмечали, что в своей южной ссылке поэт много и упорно занимался самообразованием. В частности, Кишинев, где в уединении он, по собственному признанию стремился „стать с веком наравне“, а затем и Одесса, где в видимой праздности дней шла его, незаметная для других, упорная работа над собой, были временем его жадности к книге и непрерывного умственного роста. Что и когда именно читал Пушкин в этот период, удастся установить лишь в редких случаях, но мы знаем, что, например, еще в Кишиневе он не довольствовался присылаемыми книгами и брал их у друзей и знакомых, в частности у Инзова, Пушина, наконец у Липранди<sup>1)</sup>, который обладал прекрасной по тому времени библиотекой, состоявшей из книг по военной истории и географии земель ближнего Востока. Переезд Пушкина в „европейскую“ Одессу без сомнения должен был облегчить ему розыски книг и содействовать расширению его книжных интересов. С пребыванием Пушкина в Одессе действительно связывают зарождение его библиофильской страсти и даже основание впоследствии столь значительной библиотеки. Еще П. В. Анненков в своих „Материалах“ отметил, что „к этой эпохе относится возникшее стремление Пушкина собирать книги, которое заставило его сказать так живописно, что он походит на стекольщика, разоряющегося на покупку необходимых ему алмазов“<sup>2)</sup>; о том же, но уже в более определенной форме, упомянул вслед за Анненковым и автор заметки „О книжной торговле в Одессе“: „Прежде других книжных лавок заведена была здесь лавка французских книг г. Рубо. По всей вероятности, в этой-то лавке А. С. Пушкин, живучи в Одессе, покупал книги и уже составлял свою, впоследствии столь многочисленную библиотеку“<sup>3)</sup>. Какие книги были приобретены Пушкиным в Одессе, сказать опять таки трудно; записей в бумагах его и документов вроде позднейших счетов Белизара не сохранилось; в выяснении этого вопроса не может помочь и превосходная опись его библиотеки, сделанная Б. Л. Модзалевским. Думается, однако, что книжные приобретения Пушкина в Одессе, если они

<sup>1)</sup> П. Бартенев. Пушкин в Южной России. М. 1914, стр. 70; „Русск. Архив“ 1900, т. III, стр. 403.

<sup>2)</sup> Сочинения Пушкина, ред. П. В. Анненкова, СПб. 1855, т. I, стр. 95.

<sup>3)</sup> „Одесский Вестник“ 1856 № 13.

делались вообще, не могли быть ни систематическими ни особенно обширными. Денежные затруднения, неопределенность служебного положения, тревожные планы побега, закончившиеся внезапным и поспешным отъездом, — все это исключало возможность такого планомерного, любовного, бережного пополнения своей библиотеки, какое в зрелые годы сделало из Пушкина настоящего коллекционера. С другой стороны, в лавке Рубо Пушкин едва ли и мог найти все то, к чему он чувствовал живой интерес. Письмо Пушкина к Вяземскому (4 ноября 1823 г.) подтверждает, что в Одессе он чувствовал недостаток в русских книгах и свежих столичных журналах: „Вот каково жить по-азиатски, не читая журналов. Одесса город европейской, вот почему здесь русских книг и не водится“<sup>1)</sup>. И если в этой жажде литературных новостей навстречу поэту шли его столичные друзья и литературные корреспонденты, посылавшие ему свои издания (так Рылеев и Бестужев послали ему „Полярную Звезду“), то все же вполне удовлетворить этот интерес его к новой книге эти редкие посылки, конечно, не могли. И за новинками, и за книгами вообще, приходилось обращаться к знакомым и друзьям. Любопытно поэтому, что в Одессе в те годы прекрасные библиотеки имелись у многих лиц: И. П. Бларамберга, А. С. Стурдзы, И. В. Сабанеева<sup>2)</sup>. Наиболее интересной из них была библиотека гр. М. С. Воронцова.

В истории и генеалогии одесской библиотеки Воронцова существуют некоторые неясности. Известно, что отец М. С., граф Семен Романович, посол в Венеции и Лондоне, проводивший большую часть жизни за-границей, собрал замечательную библиотеку, которая в количестве около 12.000 томов перешла к его сыну и составила его так называемую „петербургскую“ библиотеку<sup>3)</sup>: в 1880 г. в своей значительной части она была продана петербургскому книгопродавцу В. И. Клочкову и разошлась по рукам<sup>4)</sup>. Кроме того, у Воронцова была еще прекрасная библиотека в м. Мошнах, Киевской губ. Черкасского у. (имени Е. К. Воронцовой)

<sup>1)</sup> Переписка т. I, 84.

<sup>2)</sup> О библиотеке этой, которую И. В. Сабанеев одним из первых пожертвовал в Одесскую Публичную Библиотеку (1829), есть указание в „Трудах Одесского Статистического Комитета“ 1887, вып. IV, стр. 64. В том же книгохранилище в полном своем составе находится и библиотека А. С. Стурдзы и значительная часть книг И. Н. Инзова. Ср. В. А. Яковлев, Значение нашего края в жизни и деятельности Пушкина. Одесса, 1887, стр. 15 и „Росс. Библиография“ 1880, № 6, стр. 288. Что касается библиотеки И. П. Липранди, то она в 1856 г. была куплена для генерального штаба; остаток ее в количестве 39 названий хранится ныне в Ташкенте и описан в статье Е. И. Бетгера „Коллекция книг из собрания И. П. Липранди в Туркестанской Госуд. Библиотеке“ — „Сборник Туркестанск. Восточн. Института в честь проф. А. Э. Шмидта“ Ташкент, 1923, стр. 14 — 23.

<sup>3)</sup> „Русск. Ведомости“ 1897 № 90 и 95.

<sup>4)</sup> „Росс. Библиография“ 1880 № 53, стр. 1. Вероятно, каталог именно этого собрания (1766) и охранные описи позднейших лет хранятся до сих пор в архиве Воронцовых, находящемся в Рукописн. Отд. Академии Наук. Ср. Л. К. Ильинский, Библиотека И. М. Хвостова — „Sertum Bibliologium“, П. 1922, стр. 374.

и, создавшаяся не ранее конца 20-х гг., библиотека в Алушке. По переезде в Одессу, М. С. Воронцов, большой книголюб, сосредоточил здесь свои главные книжные сокровища. Какая из его библиотек легла в основание одесского собрания и когда она была перевезена в Одессу — точно неизвестно. Из биографии М. С. Воронцова, написанной М. П. Щербининым можно сделать заключение, что это была главным образом библиотека дяди — Александра Романовича Воронцова, известного покровителя Радищева: „Библиотека князя, говорит Щербинин, доставшаяся ему после графа Александра Романовича, и после отца его, постепенно, в течение целой жизни им самим дополняемая, вполне могла удовлетворить его жажду просвещения и любознательности, по всем отраслям наук, словесности и искусств. Древние рукописи и исторические материалы, им собранные, составляют, конечно, одно из драгоценнейших сокровищ, доставшихся его наследникам“<sup>1)</sup>. Когда при одесской библиотеке сосредоточен был и фамильный архив, к сожалению, мне установить также не удалось. Нужно предположить, что и библиотека и архив перевезены были тотчас по переезде Воронцова в Одессу (21 июля 1823 г.): он устраивался здесь прочно и надолго; Елисавета Ксавьерьевна, приехавшая сюда в начале сентября этого года, застала дом, нанятый от города, уже обставленным и почти приспособленным для жилья<sup>2)</sup>. Однако, известия о библиотеке идут лишь с конца 20-х гг., когда она весьма эффектно расположена была в новом здании дворца (1826)<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> М. П. Щербинин. Биография князя М. С. Воронцова. СПб 1858, стр. 6.

<sup>2)</sup> „Русск. Архив“ 1905, III, стр. 572.

<sup>3)</sup> Из воспоминаний В. А. Докудовского, относящихся к началу 30-х гг. видно, что Воронцов в эти годы принимал в „библиотеке великолепного своего дворца“ (Труды Рязанск. Уч. Арх. Ком. 1897, т. XII, вып. 2, стр. 171); рукописные материалы библиотеки в „Одесском Вестнике“ печатал уже чиновник Воронежской канцелярии С. В. Сафонов („Русск. Арх.“ 1878 т. I, стр. 257); систематически научным разбором и опубликованием их занимался с 30-х гг. Н. Н. Мурзакевич, издавший по подлинникам, хранившимся здесь, драгоценную псковскую судную грамоту 1467 г. и собственноручные письма царевича Алексея; в 1846 г. этими рукописями наслаждался гостивший в Одессе М. П. Погодин (Н. Барсуков. Жизнь и труды Погодина т. VIII, стр. 444 и т. X, стр. 426; Н. Н. Мурзакевич, „Очерк заслуг, сделанных наукам кн. М. С. Воронцовым“, Зап. И. Од. Общ. Ист. Др. т. IV, стр. 395; М. Попруженко, Одесская Публичн. Библ-ка Одесса 1911, стр. 20 — 21). Некоторых из чиновников своей канцелярии, как, например, И. З. Посникова, Воронцов специально употреблял для приведения в порядок и описания своей библиотеки (Б. М. Маркевич. Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 413 — 414). Г. Геннади отметил: „6-ка при доме гр. М. С. Воронцова замечательна по собранию разных фамильных актов и рукописей“ („Указатель библиотек в России“ СПб 1864, стр. 20. Ср. У. Г. Иваск. Частные библиотеки в России, „Русск. Библиофил“ 1911 № 6, стр. 71). В 1869 году П. И. Баргнев начал планомерную публикацию исторических материалов одесского архива Воронцовых и закончил издание через 25 лет выпуском последнего 40-го тома „Архива кн. Воронцовых“. Впоследствии рукописи попали в Академию Наук, а библиотека, в количестве 35.380 томов, размещенных в 91 шкафу была летом 1896 г. перевезена в Новороссийский Университет и ныне составляет утра-

В. П. Семенников высказал недавно предположение, что Пушкин был знаком с радищевскими материалами Воронцовской библиотеки. В статье своей о Радищеве Пушкин говорит, между прочим: „Сохранилась его (Радищева) переписка с одним из тогдашних вельмож, который может быть, не вовсе чужд был изданию Путешествия“. По догадке В. П. Семенникова „хотя Пушкин и не называет имени вельможи, но ясно, что речь идет об А. Р. Воронцове“<sup>1)</sup>. Откуда же в таком случае Пушкин мог знать об этой переписке? Бумаги Александра Романовича и его переписка с Радищевым хранились как раз в одесской библиотеке Воронцова и Пушкин мог познакомиться с ними именно здесь. Очень правдоподобно также предположение, что Пушкин „был вероятно знаком с замечаниями, сделанными Екатериной II на книгу Радищева“; копия этих „Замечаний“ имела также в том же собрании в Одессе, и вместе с прочими радищевскими материалами была напечатана П. Бартеневым в V-ой книге „Архива кн. Воронцовых“<sup>2)</sup>.

Помимо этого, существует и прямое указание на занятия Пушкина рукописными материалами воронцовской библиотеки. Оно принадлежит Герцену. В предисловии к „Запискам Екатерины II“ Герцен пишет: „До последнего времени мемуары Екатерины содержались в великой тайне... Говорят, что Павел дал только одну копию мемуаров другу и товарищу своего детства, князю Александру Куракину. Когда он умер в 1818 году, Александр Иванович Тургенев успел проникнуть в его библиотеку и снял для себя список. Отсюда пошли все списки, существовавшие в России. Пушкин в Одессе собственноручно переписал для себя все мемуары из библиотеки графа Воронцова“. Несколькo иначе Герцен говорит об этом в первом французском издании записок: „Александр Тургенев и Михаил Воронцов сделали копию с экземпляра Куракина. Император Николай, услышав об этом, приказал тайной полиции отобрать все списки. Среди них был один, написанный в Одессе, рукой известного поэта Пушкина“<sup>3)</sup>.

Действительно, в описи бумаг Пушкина, производившейся в феврале 1838 г. Жуковским и Дубельтом, упомянуто под 19 февраля: „Секретные записки о жизни и смерти (?) императрицы Екатерины на французском языке в двух книгах“, а под 27 февраля отмечено, что записки „представлены Его Величеству“<sup>4)</sup>.

---

шение Главной Одесской Научной Библиотеки. (См. „По правлению Императора Александра I“ Дело 1896 № 33 и заметку П. Бартенева „Воронцовская Библиотека“ в „Русск. Архиве“ 1896 т. II, стр. 599).

<sup>1)</sup> В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования М.-П. 1923, стр. 252.

<sup>2)</sup> Ibid. стр. 278. Косвенное подтверждение своей догадки В. П. Семенников (в личной беседе со мной) хотел видеть в карандашных надписях на этих рукописях, сделанных почерком, крайне напоминающим Пушкинский.

<sup>3)</sup> Полн. собр. соч. Екатерины II, Акад. изд. т. XII, вып. 2, стр. 707—708. Ср. „Русск. Стар.“ 1906 т. VII, стр. 6.

<sup>4)</sup> Соч. Екатерины II, *ibid.*, стр. 798.



Нахождение списка в бумагах Пушкина однако нисколько не свидетельствует о том, что он снят был в Одессе, так как вопреки словам Герцена известны были и другие, правда немногочисленные списки, происходившие, вероятно, от тургеневского; один из них, например, зимою 1822 г. был в руках Н. М. Карамзина. Чрезвычайно интересно поэтому выяснить, откуда Герцен получил это сведение о Пушкине.

В исторической литературе имя лица, сообщившего Герцену копию записок Екатерины обычно не упоминается: таинственность передачи рукописи вызвана была опасениями репрессий со стороны правительства, принимавшего чрезвычайные меры к сокрытию ее<sup>1</sup>). Этим объясняется и молчание Н. А. Огаревой-Тучковой, которая о самом факте передачи рассказала лишь следующее: „В это время (т. е. в 1858 г.) приехал к А. И. один русский, N. N. Он был небольшого роста и слегка прихрамывал. Герцен много с ним беседовал. Кажется, он был уже известен своими литературными трудами. Теперь, когда его уже нет на свете, я могу открыть тайну, которую знаю одна: могу рассказать о причине, которая привела его в Лондон“. По ее словам, он из Германии приехал в Лондон именно для того, чтобы передать Герцену копию „Записок“. Показывая ее Огареву, Герцен сказал: „Я очень рад приезду N. N. Он нам привез клад; только про это ни слова, пока он жив“<sup>2</sup>). Имя этого NN не раскрывают ни А. Н. Пыпин в академическом издании сочинений Екатерины II, ни О. Е. Корнилович<sup>3</sup>) в специальной статье о „Записках“, ни М. К. Лемке в комментированном им издании Герцена. Между тем, это был повидимому П. И. Бартенев, к облику которого как будто подходят и приметы Огаревой (маленького роста, слегка прихрамывал...), но она утверждает, что в момент записи воспоминаний его уже не было на свете, тогда как Бартенев надолго пережил и Герцена и Огареву (он умер 22 октября 1912 г.). Остается заподозрить правильность известия о его смерти; любопытно поэтому, что осведомленный А. Н. Пыпин, цитируя указанное место воспоминаний Огаревой, к словам: „теперь, когда его уже нет на свете“ написал в выноске: „Автор воспоминаний ошибается“<sup>4</sup>). Сам Герцен говорит, что сведения о копиях записок „были ему доставлены“. Если рукопись „Записок“ была доставлена Герцену именно Бартеневым, то не от него ли Герцен получил и указания на занятия Пушкина в Воронцовском архиве? Если это действительно так, известие это приобретает полную достоверность: в 50-х гг. Бартенев как раз приступил к собиранию

<sup>1</sup>) Письмо Герцена к М. Мейзенбуг 19 сент. 1858 г.,— Полн. собр. соч. и писем Герцена т. IV. Пгр. 1919, стр. 339. Слова Герцена о „чрезвычайных мерах“ и хлопотах по изъятии ее из обращения вполне подтверждают опубликованными здесь же документами из архива III Отделения (стр. 385).

<sup>2</sup>) Н. А. Огарева-Тучкова, Воспоминания М. 1903, стр. 138—139.

<sup>3</sup>) „Записки имп. Екатерины II“—„Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1912, т. I, стр. 38—39.

<sup>4</sup>) Соч. Екатерины т. XII, вып. 2 (СПб. 1907), стр. 709.

биографических сведений о Пушкине, опросу его друзей и современников: напомним, что тогда составлялась уже его монография „Пушкин в южной России“, заставляющая предполагать, что Бартеневу в те годы были уже известны такие подробности жизни поэта, какие лишь много лет спустя могли быть изложены в специальной литературе<sup>1)</sup>.

Итак, сопоставление всех этих известий позволяет заключить, что Пушкин занимался в библиотеке Воронцова, в самой их драгоценной части — рукописном архиве. К этим бумагам допускались немногие. Как и по чьему ходатайству Пушкин получил доступ к ним, является новым вопросом, не поддающимся пока удовлетворительному решению. Предположение, что Воронцов мог использовать Пушкина для их разборки и описания, подобно тому, как он впоследствии сделал это с И. З. Посниковым, официально числившимся чиновником канцелярии, не может быть подтверждено ничем. Очень возможно, что Пушкин пользовался также и книгами этой библиотеки. Здесь он мог найти и прекрасный подбор французских классиков XVII—XVIII века, которых он вероятно освежил в своей памяти в Одессе<sup>2)</sup> и такие раритеты, как сборник фривольных новелл Пьетро Аретино „Ragionamenti“ (Cosmopolis 1660; Библ. шифр III. 8.6.18), который он несомненно имеет в виду в письме из Одессы к каким то кишиневским приятельницам, обещающая показать „m-me de Woz(onzoff)“ „в восьми позах Аретина“<sup>3)</sup>. Исчерпывающе представлена была здесь и современная литература — французская и английская<sup>4)</sup>.

Русских книг в библиотеке было значительно меньше, но все наиболее интересное в текущей литературе немедленно приобреталось, главным образом, вероятно для Елисаветы Ксавьеровны. Любопытным доказательством ее живого интереса к русской литературе может служить интересное письмо Н. Н. Раевского мл. к А. Н. Раевскому от 11 мая 1825 г., где он пишет: „*Surpliez de ma part la comtesse Voronzoff de me prêter les Думы, Войнаровский, le Чернец et Онегин; je rapporterai le tout le 17 de ce mois*“<sup>5)</sup>. Е. К. Воронцова жила тогда в деревне у матери; тем более любопытно, что все перечисленные здесь книги были свежими книжными новинками; поэмы Рылеева и Козлова вышли в свет незадолго перед тем, а первая глава „Онегина“ появилась лишь в середине февраля 1825 года<sup>6)</sup>. В связи с этим некоторый интерес представляют и

<sup>1)</sup> Ср. С. Бобров. Записки стихотворца М. 1916, стр. 21—29 („Любовь к Пушкину“), в статье М. Цявловского „Гол. Мин.“ 1922 № 8, стр. 108, 111 и его же „Рассказах о Пушкине, записанных... П. И. Бартеневым“ М. 1925, стр. 8—9.

<sup>2)</sup> Переписка т. I, стр. 94—95.

<sup>3)</sup> Переписка т. I, стр. 88.

<sup>4)</sup> Позднее В. А. Жуковский, советуя А. П. Зонтаг написать роман, рекомендовал ей „чтоб понастроиться“ — перечитать „лучшие романы В. Скотта, Клариссу, Miss Edgewort, особенно Héléne. Все это найдется в библиотеке гр. Воронцовой“. („Уткинский сборник“ М. 1904 т. I, стр. 111).

<sup>5)</sup> „Архив Раевских“ т. I, стр. 257. Ср. Ibid., стр. 254.

<sup>6)</sup> Н. Синявский и М. Цявловский. Пушкин в печати. М. 1914 стр. 23.

сочинения Пушкина, сохранившиеся в библиотеке Воронцовых. Бартев указывает, что Е. К. любила читать Пушкина. Она, по его словам „до конца своей долгой жизни сохраняла о Пушкине теплое воспоминание и ежедневно читала его произведения. Когда зрение ей совсем изменило, она приказывала читать их себе вслух, и притом сподряд, так что когда кончались все томы, чтение возобновлялось с первого тома. Она сама одарена была художественным чувством и не могла забыть очарований пушкинской беседы. С ним соединялись для нее воспоминания молодости“<sup>1)</sup>. На то, что Воронцова ежедневно перечитывала Пушкина, Бартев впоследствии указывал и со слов В. Ф. Вяземской<sup>2)</sup>. Когда П. А. Ефремов усумнился в справедливости это утверждения<sup>3)</sup>, Бартев решительно и даже с некоторым раздражением заявил об этом еще раз: „Работая в Одессе в архиве кн. С. М. Воронцова, я лично знал его мать, княгиню Елисавету Ксавьеровну и часто с нею беседовал о старине и о Пушкине, сочинения которого были ежедневным ее чтением (поутру псалтырь, серед дня Пушкин), и это, по словам жившей у нее в доме Ельвины Ланге, в течении многих лет сряду“<sup>4)</sup>. Наконец, то же указание Бартев сделал в примечании к письму М. П. Щербинина, в котором говорится о восхищении Е. К. Воронцовой некрологом Пушкина, напечатанном в „Journal d'Odessa“<sup>5)</sup>.

Ввиду этого можно с уверенностью предположить, что в библиотеке Воронцовых сохранились не все издания Пушкина, которые там имелись. Среди них нет например, посмертного издания, о котором В. А. Жуковский писал М. С. Воронцову, прося содействия в его распространении<sup>6)</sup>. Теперь здесь находятся только: 1) „Кавказский пленник“ СПб. 1822 (I. 6. 6. 6.) 2) „Граф Нулин“ СПб. 1828 (II. 2. 8. 4), 3) „Евгений Онегин“ гл. 7, 8 СПб. 1830 (I. 2. 6. 26); первая глава, находящаяся у Воронцовой в Белой Церкви в 1825 г. — отсутствует 4) „Борис Годунов“ СПб. 1831 (II. 27. 14), 5) „История Пугачевского бунта“ СПб. 1834 (II. 3. 10. 22). Все книги разрезаны (большинство в переплетах); ни на одной книге никаких помет нет.

*М. П. Алексеев.*

1) Бумаги А. С. Пушкина вып. II, стр. 97 — 98.

2) „Русский Архив“ 1908 т. III, стр. 295.

3) Соч. Пушкина, изд. Суворина т. VIII, стр. 217.

4) „Русский Архив“ 1905, июль, обложка.

5) „Русский Архив“ 1894 т. I, стр. 573 прим. Это же письмо опубликовано было в „Русск. Стар.“ 1887, IV, стр. 160. См. о нем заметку Н. Лернера „Пушкин и его соврем.“ вып. VII, стр. 77 — 78. В дополнение к свидетельствам Бартева можно привести еще указание А. И. Марквича („Пушкин и Новороссийский край“ Одесса 1900, стр. 25): „Относительно гр. Воронцовой мне неоднократно передавали близкие к ней лица, например, М. К. Павловский, что сочинения Пушкина навсегда остались ее любимым чтением“.

6) Черновик этого письма, по указанию Б. Л. Модзалевского, хранится в музее А. Ф. Онегина в Париже („Пушкин и его современники“ вып. XII, стр. 35).

## Летопись занятий Пушкинской Комиссии.

По примеру прошлого года деятельность Пушкинской Комиссии выразилась в устройстве закрытых и открытых заседаний, на которых заслушаны и обсуждены были следующие доклады:

### 1925

- 16/V Б. В. Варнеке. Новости Пушкинской литературы.  
30/V Г. П. Сербский. Высылка Пушкина на юг.  
10/X Б. В. Варнеке. „Осень“ Пушкина и „Скупой рыцарь“.  
В. А. Мануйлов. О снах Пушкина.  
14/XI А. М. Де-Рибас. По поводу „Скупого рыцаря“.  
З. А. Бабайцева. Одесские альманахи.  
29/XI М. П. Алексеев. Новооткрытые письма Пушкина.  
Б. В. Варнеке. Пушкин и актеры.  
6/XII Г. П. Сербский. Командировка Пушкина на саранчу  
(по новым данным).  
11/XII Б. В. Варнеке. Татьяна Пушкина в освещении Никанора.  
26/XII М. П. Алексеев. Пушкин и библиотека Воронцова.  
Б. А. Зевалин. Чествование памяти Пушкина в селе Михайловском.

### 1926

- 30/I В. И. Селинов. Пушкин и греческое восстание.  
20/II В. В. Стратен. Одесский список „Вольности“.  
Я. К. Багдасарянц. Новое толкование „Египетских ночей“ (по поводу статьи Л. Войтоловского).  
М. П. Алексеев. Словарь одесских знакомых Пушкина.  
3/III М. П. Алексеев. Словарь одесских знакомых Пушкина (продолжение).

- 13/III З. А. Бабайцева. Пушкин и одесские альманахи.  
3/IV А. М. Де-Рибас. Пушкин и Ланжерон-драматург.  
17/IV М. П. Алексеев. Легенда о Пушкине и Воронцовой,  
ее источники и критики.  
8/V Б. В. Варнеке. „Актэон“ — программа Пушкина.  
22/V М. П. Алексеев. К „Истории села Горюхина“ (Пуш-  
кин и В. Ирвинг).

Председателем „Пушкинской Комиссии“ вторично избран Б. В. Варнеке, секретарем (вместо временно находящегося в отъезде С. П. Шестерикова) — В. Н. Матвиевич.

## Дополнения и поправки.

### К первому выпуску.

**К стр. 57.** „Автографы Пушкина в Одессе“. Бывшая на одесской, Пушкинской выставке записочка Пушкина к В. И. Григоровичу, ошибочно названа неопубликованной. По копии А. И. Маркевича ее опубликовал Н. О. Лернер. („Северные цветы на 1902 г., собранные кн-вом Скорпион“. М. 1902, стр. 177—178) и перепечатал В. Брюсов („Письма Пушкина и к Пушкину“ М. 1903, стр. 23); однако записочка эта оказалась принадлежащей какому-то другому Пушкину (Ср. „Былое“ 1925 № 6, стр. 240).

**К стр. 72.** В статье Е. В. Сказина „Л. С. Пушкин в Одессе“ случайно опущено следующее любопытное место записок Бар. А. И. Дельвига: „Осенью 1848 г. приезжал в Петербург Л. С. Пушкин. Мы с ним часто видались и обедали в ресторанах, при чем он был воздержан и вообще экономен. Он в это время служил в Одесской таможне. К жене своей, оставшейся в Одессе, он писал каждый день, несмотря на то, что почта ходила из Петербурга в Одессу только два или три в неделю. В комнате, которую он нанимал, висел грудной портрет его жены. Он не находил слов для ее расхваливания во всех отношениях и добивался от меня, чтобы я сказал, что его жена красивее жены его покойного брата—поэта, бывшей в это время во втором браке за генералом Ланским, с чем я не мог согласиться. Как все это мало походило на прежнего Левушку Пушкина!“ „Он приехал в Петербург для раздела имения, оставшегося после его отца, незадолго пред этим умершего“... „По окончании этих переговоров, Лев Пушкин уехал в Одессу“. „Вскоре я узнал, что жена Льва Пушкина его оставила. Он умер в весьма горестном положении“. (Мои воспоминания, т. II, М. 1913, стр. 182—183). Относительно дочери Л. С. Пушкина — Софьи, вписанной в формуляр отца в 1847 г. и исчезающей из формуляра начиная с 1848 г. Н. О. Лернер в „Былом“ 1925 № 6 (34), стр. 240 привел выписку из книги одесского старого кладбища: „Младенец София Пушкина род. 16 мая 1847 г., ум. 18 июня 1848 г. (квартал 3, могила № 228)“.

**К стр. 75.** „К портрету И. П. Липранди“. Воспроизведенный в сборнике акварельный портрет работы Геда заимствован из одесского рукописного альбома 30-х гг. Единственным свидетельством, удостоверяющим личность И. П. Липранди, являлась

карандашная надпись альбома: „И. П. Липранди“; других портретов его не сохранилось. По ознакомлении с подлинником Б. Л. Модзалевский и военный историк К. И. Габаев выразили сомнение, действительно-ли он изображает названное лицо. Военная форма, в которую одет изображенный, по покрою и краскам относится к Николаевской эпохе; изображен капитан, а в этом чине И. П. Липранди был лишь один год (1813), будучи в 1814 г. произведен уже в подполковники; кроме того форма мундира—артиллерийская, а в артиллерии И. П. не служил. Возможно, что портрет изображает П. П. Липранди, брата предыдущего (1796 — 1864). Оставляя вопрос открытым, Комиссия благодарит за разъяснения и в то же время не может не согласиться с авторитетным заключением специалистов.

**К стр. 76.** В некрологе А. С. Ганнибал, год рождения А. С. указан неверно. А. С. родилась 26 августа 1849 г. Ср. Б. Л. Модзалевский. Родословие Ганнибалов. М. 1907, стр. 11. По дополнительному сообщению Б. Л. Модзалевского отец А. С.— Семен Исакович (р. 1830 г.) в 1847 г. управлял имениями заводчиков Яковлевых в Тамбовской губ., затем, женившись, служил казначеем в г. Козлове, а потом в Лебедяни; в 1851 г. управлял имением гр. Апраксина в Черниговской губ. (с. Добродеевка, Ново-зыбковского у.), где и умер 9 авг. 1853 г.; там и погребен.

#### Ко второму выпуску.

**К стр. 46.** В строке 11-й снизу вм. Загоскин ошибочно напечатано Залоскин.

**К стр. 52.** Речь Розберга „О содержании, форме и значении изящно-образовательных искусств“, сказанная на торжественном акте Ришельевского лицея и напечатанная в „Литературных Листках“ Одесского Вестника (1833 № 6 и 7), вышла также и отдельно (Од. 1832, вм. 1833 г.). О философских сочинениях Розберга, в частности, о диссертации его „О развитии Изыщного в Искусствах и, особенно, в Словесности“ (Дерпт. 1838, 2-ое изд. 1839) см. у П. Н. Сакулина, Кн. В. Ф. Одоевский т. I. ч. I, стр. 514—518. Г. Шпет в своей книге „Очерк развития русской философии“ П. 1922 ч. I, стр. 338—339 выяснил, что рассуждение это является беззастенчивым плагиатом из Шеллинга и Фр. Аста.

**К стр. 55.** В затевавшийся в Одессе Альманахах „Евксинские цветы“ Розберг привлекал также М. П. Погодина и М. А. Максимова. См. об этом у Н. Барсукова. Жизнь и труды М. П. Погодина т. III, стр. 194—195. В строке 1-ой снизу вместо: из „Одесской старины“ следует читать: „Из одесской старины“.

**К стр. 56.** К указанию на статью о Розберге Е. В. Петухова („Биографич. словарь профессоров и преп. Юрьевского Ун — та“, Юрьев 1903 т. II, стр. 355—357 следует прибавить статью Вад. Модзалевского в „Русск. Биографич. Словаре“ т. Рейтерн-Рольцберг СПб. 1913, стр. 350—352.

**К стр. 61.** В строке 8-й снизу вм. А. И. Шляпкин следует читать И. А. Шляпкин. То-же в стр. 2-й сверху.

## О Г Л А В Л Е Н И Е.

	стр.
Предисловие . . . . .	III— IV
В. В. Стратен. Одесский список оды „Вольность“ . . . . .	1— 4
В. И. Селинов. Пушкин и греческое восстание . . . . .	5— 31
А. М. Де-Рибас. Пушкин и Ланжерон — драматург . . . . .	32— 40
Б. В. Варнеке. Пушкин и актеры . . . . .	41— 50
З. А. Бориневич-Бабайцева. Пушкин и Одесские альманахи . . . . .	51— 69
М. П. Алексеев. К „Истории села Горюхина“ . . . . .	70— 87
Я. К. Багдасарянц. К истории текста „Египетских ночей“ . . . . .	88— 91
М. П. Алексеев. Пушкин и библиотека Воронцова . . . . .	92— 98
Летопись занятий Пушкинской Комиссии . . . . .	99—100
Дополнения и поправки . . . . .	101—102

